

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE

ANNALI

SEZIONE SLAVA

a cura di
LEONE PACINI SAVOJ e NULLO MINISSI

XIII

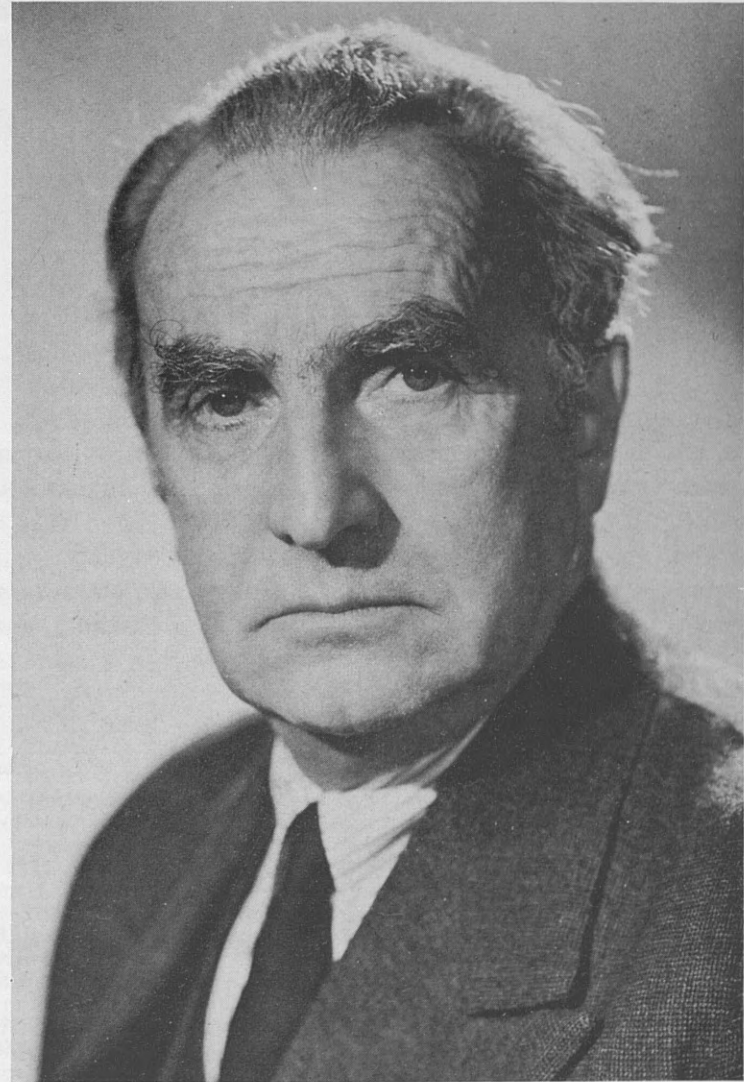


NAPOLI 1970

DIRITTI RISERVATI

INDICE

П. Н. Берков, <i>Пушкин и Итальянская Культура</i>	p. 1
Г. Струве, <i>К биографии Андрея Белого</i>	» 47
A. Senn, <i>Folklore in Eastern Europe</i>	» 69
F. Friedeberg Seeley, <i>Theme and Structure in Fathers and Sons</i>	» 85
L. Klimeš <i>Pokus o statistický výklad vývoje věty souvětí v české historické próze z let 1685-1758</i>	» 105
RECENSIONI	» 137
LIBRI RICEVUTI	» 141



Giovanni Maver (1891 - † 1970)

П. Н. Берков

ПУШКИН И ИТАЛЬЯНСКАЯ КУЛЬТУРА *

После того, как с конца двадцатых годов нашего века в форме ряда статей была опубликована большая монография акад. М. Н. Розанова «Пушкин и итальянские поэты»¹, а в 1937 г. была напечатана обширная статья Ады Биолато Миани *Puškin e l'Italia*², - работы в которых почти с исчерпывающей полнотой освещена интересующая нас тема, новое обращение к данной проблеме естественно требует объяснения и обоснования.

* Текст лекций предусмотренных для прочтения в Русском Семинаре Восточного Института в Неаполе. Редакция благодарит семью покойного Академика предоставившую ей рукопись.

¹ Пушкин и Данте. - Пушкин и его современники, вып. XXXVII, Л., 1928, стр. II-41; Пушкин и Петрарка. - Московский пушкинист, вып. II, М., 1930, стр. 116-154; об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонте». - Пушкин. Сб. II. Под ред. Н. К. Пиксанова. М., 1930, стр. III-142; Пушкин и Гольдони. К вопросу о прототипах «Скупого рыцаря» - Пушкин и его современники, вып. XXXVIII-XXXIX, Л., 1930, стр. 141-150; Элегия Пушкина «Андрей Шенье» и стихотворения Пиндемонте из эпохи революции. - Памяти П. Н. Сакулина. Сборник статей. М., 1931, стр. 250-255; Итальянский колорит в «Анджело» Пушкина. - Сборник статей к сорокалетию деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, стр. 377-389; Пушкин и Ариосто. - Известия АН СССР. Отд. общ. наук, 1937, № 2-3, стр. 375-412; Пушкин, Тассо, Аретино. - Там же, стр. 369-374; Пушкин и итальянские писатели XVIII и начала XIX века. - Там же, стр. 337-368. О подготовке монографии «Пушкин и итальянские поэты» М. Н. Розанов говорит в статье «Пушкин и Гольдони» и в других местах.

² Ada Biolato Mioni. *Puškin e l'Italia*. - Alessandro Puškin. Nel primo centenario della morte. A cura di Ettore Lo Gatto, Roma, 1937, pp. 249-297.

I

История литературной науки учит нас тому, что исследование каждой значительной проблемы обязательно проходит несколько основных этапов: 1) осознание необходимости постановки данного вопроса как самостоятельной научной проблемы; 2) накопление максимально полного свода соответствующих фактов; 3) определение внутреннего смысла собранного материала; 4) соотнесение выводов исследования данного частного вопроса с общей или, по крайней мере, более широкой проблематикой изучаемого явления.

Правильность только что приведенного положения наглядно подтверждается на материале истории поставленной нами проблемы «Пушкин и итальянская культура».

Несмотря на то, что в произведениях Пушкина, изданных как при его жизни, так и в посмертных собраниях его сочинений, находится множество материалов по интересующей нас теме и немалое количество дополнительных данных содержится в мемуарной, критической и исследовательской литературе о Пушкине, вышедшей в течение XIX в., первые работы, в которых ставился вопрос об отношении творчества великого поэта к иностранным литературам, либо вовсе обходили молчанием отношение Пушкина к итальянской литературе, либо уделяли этой теме один небольшой абзац. Так поступили Н. И. Стороженко³, Н. И. Кареев⁴, Н. П. Дашкевич⁵, Ю. А. Веселовский⁶,

³ Н. И. Стороженко. Отношение Пушкина к иностранной словесности. - Русский курьер. 1880, 8 июня, № 154, стр. 1-2; перепеч.: Венки на памятник Пушкину. СПб., 1880, стр. 216-227; В. И. Покровский. А. С. Пушкин. Его жизнь и сочинения. М., 1905, стр. 691-702 (и последующие издания).

⁴ Н. И. Кареев. Пушкин как поэт европейский. - Филологические записки, 1880, вып. V, Воронеж, стр. 1-10.

⁵ Н. П. Дашкевич. Общевропейское значение поэзии Пушкина. - Киевлянин, 1887, 31 января - 2 февраля, № № 25-27; А. С. Пушкин в ряду великих поэтов нового времени. - Университетские известия, Киев, 1899, № 5, отд. I, стр. 85-257 (гд. П. Отношение поэзии Пушкина к западноевропейской). - Обе статьи перепечатаны в книге Д. «Статьи по новой русской литературе». Пг., 1914.

⁶ Ю. А. Веселовский. Пушкин как европейский писатель. - Новости и Биржевая газета, 1899, 26 мая, № 143, стр. 1-2; перепеч. в книге В. «Литературные очерки». М., 1900, стр. 392-402.

Алексей Н. Веселовский⁷ и И. П. Созонович⁸. Впрочем, Алексей Н. Веселовский не ограничился простым перечислением основных сведений о переводах Пушкина из итальянских поэтов; он первый отметил «живой интерес Пушкина к итальянской литературе» и «постоянно восторженные отзывы» о Данте. В том же 1899 г., когда была напечатана цитированная работа Алексея Н. Веселовского, в журнале «Образование» появилась статья А. П. Налимова «Отзвуки итальянской поэзии у Пушкина»⁹. Автор, видный в то время петербургский педагог, сделал нечто большее, чем другие лица, мимоходом затрагивавшие ту же тему. Он не только собрал больше материала, но и сопоставил соответствующие тексты Пушкина с отрывками из Данте, Петрарки, Тассо и Ариосто. Через статью настойчиво проводится мысль, что по мере перехода Пушкина к «поэтическому реализму» меняется его понимание старых итальянских поэтов и что его интерес к этим поэтам в конце жизни подтверждает гипотезу автора. Несмотря на предвзятость и неаргументированность изложенной концепции и очень плохую корректуру и искажающие смысл опечатки (вм. «ставились» - «сразились» - см. ниже), статья А. П. Налимова содержит несколько не лишенных значения соображений и не заслуживает забвения. Она не обратила на себя внимание современников и последующих исследователей, в особенности после того как В. В. Сиповский в своей «Пушкинской литературе» дал ей нелестную характеристику.

Статьи А. П. Налимова и М. Н. Розанова не обратили на себя должного внимания пушкинистов, поэтому, как результат следования создавшейся традиции было то, что в обширной превосходной статье акад. В. М. Жирмунского «Пушкин и западные литературы», занимающей 38 страниц, данному вопросу уделено всего три с четвертью строки,

⁷ Алексей Н. Веселовский. А. С. Пушкин и европейская поэзия. - Памяти А. С. Пушкина. Юбилейный сборник. Издание редакции журнала «Жизнь». СПб., 1899, стр. 108-129; перепеч. в кн. В. «Этюды и характеристики». Изд. 3-е, М., 1907, стр. 629-647.

⁸ И. Созонович. Пушкин и его отношение к европейским литературам. - Варшавские университетские известия, 1900, I, стр. 1-19.

⁹ Образование, 1899, № 5-6, стр. 54-60.

причем, здесь говорится только « об интересе Пушкина к Италии эпохи Возрождения »¹⁰. Этот факт тем более показателен, что в упомянутых выше работах экад. М. Н. Розанова, опубликованных за несколько лет до появления статьи В. М. Жирмунского, уже высказывалась иная точка зрения. Не обратила на себя внимания советских пушкинистов и ценная работа Ады Биолато Миони, а также и статья проф. Этторе Ло Гатто « Пушкин и Парини »¹¹, опубликованная в том же сборнике « Alessandro Puškin ».

За последние тридцать с лишним лет, то есть со времени пушкинского юбилея 1937 г., не появилось, насколько мне известно, ни одной работы, посвященной теме « Пушкин и итальянская литература ».

Уже одно то, что, как было указано выше, работы М. Н. Розанова и Ады Биолато Миони не привлекли должного внимания пушкинистов и что после 1937 г. эта тема оказалась обойденной в пушкиноведении, делает целесообразным новое обращение к проблеме « Пушкин и итальянская литература ». Это тем более необходимо, что в известном обобщающем труде, изданном в 1966 г. Институтом русской литературы, « Пушкин. Итоги и проблемы изучения », тема « Пушкин и мировая литература » не была рассмотрена и намечена как предмет дальнейших исследований¹². Тема нашей теперешней конференции дает мне законное основание обратиться к проблеме « Пушкин и итальянская культура ».

II

Недостаточное внимание советского пушкиноведения к несколько раз упоминавшимся работам М. Н. Розанова и Ады Биолато Миони заставляет меня, прежде чем обратиться

¹⁰ В. М. Жирмунский. Пушкин и западные литературы. - Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. (вып.) 3. М.-Л., 1937, стр. 101.

¹¹ Ettore Lo Gatto. Puškin e Parini. - Alessandro Puškin, pp. 301-329; перепечатано в книге Ло Гатто: « Puškin - Storia di un poeta e del suo eroe ». Milano, 1959, pp. 614-637.

¹² Пушкин. Итоги и перспективы изучения. Коллективная монография под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова и Б. С. Мейлаха. М.-Л., 1956, стр. 7.

ся к изложению своих соображений по данной теме, остановиться, - по возможности, сжато, - на позициях названных исследователей и охарактеризовать их вклад в разработку изучаемого вопроса.

Точка зрения М. Н. Розанова на роль итальянской литературы в творчестве Пушкина была высказана еще робко и осторожно. Отправляясь от фразы Пушкина в письме к С. П. Шевыреву от 29 апреля 1830 г., посланном в Рим, - « Возвратитесь обогащенный воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу », - М. Н. Розанов писал: « Этому делу оживления " дремлющей " русской литературы воздействием итальянского поэтического гения служил сам Пушкин в течение многих лет. Правда, итальянские отголоски в его поэзии звучат, может быть, несравненно слабее и реже, чем английские, французские и некоторые другие; правда, что исследователю приходится здесь иметь дело с разрозненными фактами, незаконченными попытками, неуловимыми созвучиями и мимолетными мотивами ». « Тем не менее, - заканчивает свою мысль М. Н. Розанов, - было бы большою ошибкою упускать из виду эту итальянскую струю в величавом и полноводном течении его поэзии. Изучение ее необходимо для законченности картины его художественного творчества »¹³.

Своими статьями о Пушкине и Данте, Петрарке, Тассо, Ариосто, Гольдони, Пиндемонте и других итальянских поэтах, об итальянском колорите в « Анджели » и т. д. М. Н. Розанов дал если не исчерпывающую, то, во всяком случае, довольно полную картину отношений великого поэта к итальянской литературе. Приходится искренно пожалеть, что его монография « Пушкин и итальянские поэты » не была издана отдельной книгой¹⁴. Но и то, что было опубликовано при жизни М. Н. Розанова из его большой работы дает значительно больше, чем намечал сам автор. Отчасти

¹³ М. Н. Розанов. Пушкин и Данте. - Пушкин и его современники, вып. XXVII, Л., 1928, стр. 14.

¹⁴ Сведения об архиве акад. М. Н. Розанова в печати отсутствуют.

к этому выводу, - опять-таки, робко и с оговорками, - подошел, как мы увидим, и сам М. Н. Розанов.

В результате кропотливого изучения произведений и писем Пушкина и обширной пушкиноведческой литературы М. Н. Розанов констатировал: «В итальянской литературе Пушкин был довольно начитан. Список известных ему писателей включает в себя Данте, Петрарку, Боккаччо, Боярдо, Ариосто, Тассо, Маккиавелли, Аретино, Касти, Альфиери, Пиндемонте, Джанни, Уго Фосколо, Сильвио Пеллико, Манцони». «Одним из них, - продолжает М. Н. Розанов, - он (Пушкин) прямо подражает (Данте, Ариосто, Пиндемонте), других переводит (Ариосто, Альфиери, Джанни), у третьих улавливает стиль (Боккаччо), четвертых рецензирует (Сильвио Пеллико), пятым даёт мимоходом беглую характеристику (Петрарка, Тассо, Маккиавелли, Касти, Уго Фосколо, Манцони) и т. д.»¹⁵.

Мы не станем анализировать методологические позиции и исследовательские приемы М. Н. Розанова. Для нас в данной работе существенно отметить, что из всех русских литературоведов он больше всех собрал материалов и сделал ряд существенных наблюдений в интересующей нас области. Добавлю еще, что статья Ады Биолато Миони в значительной своей части построена на материалах М. Н. Розанова.

Среди наблюдений М. Н. Розанова в первую очередь должно отметить следующее: «Чем больше изучаешь вопрос об отношении Пушкина к итальянским поэтам, - писал М. Н. Розанов, - тем более убеждаешься, что поэт довольно много читал по-итальянски, не менее, может быть, чем по-английски, и более, по-видимому, чем по-немецки»¹⁶. Это соображение исследователя тем более интересно, что оно несколько уточняет приведенные выше его слова о том, что «итальянские отголоски в его (Пушкина, - П. Б.) поэзии звучат, может быть, несравненно слабее и реже, чем английские, французские и некоторые другие». Какие это

¹⁵ М. Н. Розанов. Пушкин и Гольдони. К вопросу о прототипах «Скупого рыцаря». - Пушкин и его современники, вып. XXXVIII-XXXIX, стр. 141.

¹⁶ М. Н. Розанов. Пушкин и Гольдони. стр. 149.

«некоторые другие», неясно; немецкие, польские, испанские? Во всяком случае, из работ М. Н. Розанова, - при всех возможных возражениях против частных его суждений, - можно с полной несомненностью сделать вывод, что Пушкин был отнюдь не поверхностно знаком с итальянской литературой, а также с итальянским языком¹⁷, что как известно, без серьезных оснований в начале нашего века подверг сомнению Ф. Е. Корш. Попутно М. Н. Розанов остановился также и на вопросе об отношении Пушкина к итальянской опере, правда, лишь как источнику усвоения итальянского языка.

Самым уязвимым местом в концепции М. Н. Розанова об изучении Пушкиным итальянского языка и литературы является, по нашему мнению, мысль о том, что побудительным мотивом к этому было увлечение поэзией Байрона в начале 20-х годов прошлого века. «Неудивительно, - писал М. Н. Розанов, - что его (Пушкина, - П. Б.) порывы к Италии, - кроме влияния со стороны Батюшкова, пионера нашей итальяномании, - зародились при ближайшем участии воздействий байроновской поэзии»¹⁸.

Этот исходный пункт в построении М. Н. Розанова приводит исследователя к шаблонному построению работы: анализируя отношение Пушкина к отдельным итальянским поэтам, он каждый раз подробно рассматривает соответствующие места в поэзии и в переписке Байрона, а также Гете и, - где позволяют материалы, - и Вольтера, с целью показать непосредственный, как ему кажется, литературный источник Пушкина или, по крайней мере, возможный импульс. Особенно большое значение М. Н. Розанов придает словам Пушкина в «Евгении Онегине» об Италии, об итальянском языке:

¹⁷ М. Н. Розанов. Пушкин и Данте, стр. 14-16; Пушкин и Гольдони, стр. 149.

¹⁸ Пушкин и Данте, стр. 15. Статья Б. В. Томашевского «Пушкин и итальянская опера» (Пушкин и его современники, вып. XXXI-XXXII, 1927, стр. 49-60) не могла быть использована М. Н. Розановым, так как его работа была к этому времени в печати.

¹⁹ М. Н. Розанов. Пушкин и Данте, стр. 12.

Он свят для внуков Аполлона.
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной...

(гл. I, XLIX).

Таким образом, по М. Н. Розанову выходит, что интерес Пушкина к итальянской литературе имел исключительно книжное происхождение и был результатом прямого влияния Байрона. Эта ошибочная точка зрения значительно снижает ценность обильной материалами и некоторыми полезными наблюдениями работы М. Н. Розанова. И все же, как ни далека от нас методологическая позиция М. Н. Розанова, за ним остается несомненная заслуга первого серьезного исследователя проблемы «Пушкин и итальянская литература». И если он ставил своей целью доказать наличие «итальянской струи» в поэзии Пушкина, то можно безусловно сказать, собранные им материалы и сделанные сопоставления и наблюдения дают гораздо больше.

К более решительным выводам, чем М. Н. Розанов, в отношении интересующей нас темы, пришла Ада Биолато Миони в статье «Пушкин и Италия». Исследовательница свела воедино много сведений по данному вопросу из русской и итальянской литературы о Пушкине²⁰. После тщательной и осторожной критики собранного материала она сделала заключение, что, хотя в силу разных причин, - и прежде всего в результате недоступности в тогдашней России многих произведений итальянских писателей, - у нашего поэта не могло составить полной картины развития итальянской литературы, тем не менее «Пушкин не только углубленно в пределах возможного изучил нашу (т.е., итальянскую), - П. Б.) литературу, но и с успехом извлек из нее богатые данные для своего творчества»²¹.

²⁰ Из цитируемых ею статей на итальянском языке мне не удалось прочесть ни одной. Привожу их названия для читателей, которые могут оказаться в более благоприятном положении: 1) P. Carlandi. Il «5 maggio» di A. Manzoni ed il «Napoleone» di A. Puškin. - Gazzetta letteraria, 1894, 30 giugno, N. 26; 2) S. Di Frisco. Una fonte italiana dell'Eugenio Onieghin del Puškin. - Rassegna nazionale, terza Serie, vol. IX, 1930, febbraio; 3) A. M. Pizzigalli. Puškin e l'Italia. - Rendiconti del R. Istituto lombardo di Scienze e Lettere, vol. LXVIII, fasc. XVI-XVIII, 1935; 4) P. Bizilli. Puškin e l'Italia. - Meridiano di Roma, 1937, 21 febbraio, N. 8.

Кроме детального анализа материалов, относящихся к вопросу о степени осведомленности Пушкина в истории итальянской литературы, Ада Биолато Миони с такой же подробностью суммировала сведения, известные ко времени написания ею статьи, о знании Пушкиным итальянского языка, о его интересе к итальянской музыке, живописи и скульптуре и, наконец, о его зрительных представлениях об Италии. Кстати, заслуживает внимания высказанная итальянской исследовательницей мысль о том, что пейзажи Крыма отчасти послужили Пушкину материалом для составления представлений об Италии. В конце статьи Ада Биолато Миони пишет: «Во всех проявлениях внимательного и страстного интереса, - который, как мы выше констатировали, - Пушкин обнаруживал в разных отношениях к нашей стране, мы не должны видеть просто бесплодное и педантское обращение к чужой культуре или дань современной моде, но, напротив, реально осязаемое стихийное влечение»²².

III

Независимо от вопроса об отношении Пушкина к итальянской литературе, в пушкиноведении рассматривалась также и проблема отношений поэта к итальянской музыке и итальянской живописи. Наиболее полные суждения и материалы по поводу интереса поэта к итальянской музыке находятся в работах Б. В. Томашевского «Пушкин и итальянская опера»²³, в обширном примечании к рецензии М. П. Алексеева на т. I «Писем Пушкина», под ред. Б. Л. Модзалевского²⁴ и - особенно - в книге И. Р. Эйгеса «Му-

²¹ Ada Biolato Mioni. Puškin e l'Italia. - Alessandro Puškin, p. 283.

²² Там же, стр. 291.

²³ Б. Томашевский. Пушкин и итальянская опера. - В кн.: Пушкин и его современники. Вып. XXXI-XXXII, Л., 1927, стр. 49-60.

²⁴ М. Алексеев. Пушкин. Письма. Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Том I. (1815-1825). М.-Л., 1926. - Известия отделения русского языка и словесности, 1928, т. I, кн. I, стр. 322.

зыка в жизни и творчестве Пушкина»²⁵. Много библиографических данных по этому же вопросу приведено в «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловского²⁶.

Хотя выводы исследователей очень осторожны и немногословны, однако несомненно, что Пушкин был знаком с современной ему итальянской музыкой, по крайней мере, оперной, и, по-видимому, имел представления о предшествующих этапах ее истории.

Вопрос о степени осведомленности Пушкина в области истории итальянской живописи меньше привлек внимание пушкинистов, и, кроме весьма интересной, хотя и несколько парадоксальной книги А. М. Эфроса²⁷ и нескольких статей М. Я. Варшавской²⁸ и Г. М. Коки²⁹, никаких обобщающих работ указать нельзя.

Наибольший интерес представляет для нас книга А. М. Эфроса. Исследователь пришел к выводу, очень близкому к основному тезису М. Н. Розанова: «Источники пушкинских впечатлений искусства, — писал он, — можно назвать литературными в очень узком и непосредственном смысле. Пушкин не соприкоснулся ни с одним сочинением, ни с одним трудом, который последовательно бы провел его через важнейшие этапы истории художеств и дал осмысленность ее мастерам. В Лицее этого не требовалось; позднее — не довелось³⁰. Литературными источниками Пушкина А. М. Эфрос считает в первую очередь «Письма русского путешественника» Карамина, «настоющую книгу всех и каждого еще с последних годов XVIII века»³¹.

²⁵ И. Эйгес. Музыка в жизни и творчестве Пушкина. М., Музгиз, 1937, стр. 165-214.

²⁶ М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. I. М., Иад. АН СССР, 1951.

²⁷ А. М. Эфрос. Рисунки поэта. Изд. 2-е. М., 1933, (стр. 19-25: гл. П. Пушкин и искусство).

²⁸ М. Я. Варшавская. Стихотворение Пушкина и картина Рафаэля. Л., 1949; О стихотворении Пушкина «Недоконченная картина» — в сб.: Пушкин и его время. Вып. I, Л., 1962, стр. 363-367.

²⁹ Г. М. Кока. Художественный мир Пушкина. — В. кн.: Пушкин об искусстве. М., Изд. Академии художеств СССР, 1962, стр. II-13; 21-25.

³⁰ А. М. Эфрос, стр. 83.

³¹ Там же, стр. 88.

Однако из семи имен художников, упоминаемых Пушкиным в поэме «Монах», этой, — по словам Эфроса, «своего рода пушкинской энциклопедии искусства»³², трех (Тициан, Альбани и Верне) нет у Карамзина. Значит, поэту эти живописцы были известны из другого источника.

По мнению А. М. Эфроса, таким прямым «ключом» является статья К. Н. Батюшкова «Прогулка в Академию художеств». Но, кроме беглого упоминания имен Рафаэля, Корреджио, Тициана и Альбани (Альбана), статья Батюшкова решительно ничего не дает нам для понимания «пушкинской энциклопедии искусства». К тому же «Прогулка в Академию художеств», была написана в 1814 г., а «Монах» без каких-либо колебаний датируется пушкинистами 1813 г., и неясно только, в июне или в июле работал над ним Пушкин³³. И хотя исчерпывающе убедительная аргументация датировки «Монаха» 1813 годом была приведена П. Е. Щеголевым при первой публикации поэмы в 1928-1929 гг.³⁴, это не остановило А. М. Эфроса, и он выдвинул свою особую гипотезу: «... "Прогулка" является одним из наиболее веских доказательств того, что "Монах" следует датировать этим (1814) годом»³⁵.

Гипотеза А. М. Эфроса не встретила поддержки пушкинистов, и Б. В. Томашевский, занявшийся поэмой Пушкина в т. I своей известной монографии, датирует ее 1813 г., хотя некоторые другие соображения Эфроса принимает, например, о «непосредственном знакомстве юного Пушкина с картинами Верне и, вероятно, с репродукциями мифологических пейзажей Пуссена»³⁶.

Б. В. Томашевский также остановился на списке имен

³² Там же, стр. 66.

³³ Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. I., Академия наук СССР, 1937, стр. 436. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте, с указанием тома римскими цифрами и страницы — арабскими); М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. I. М., Академия наук СССР, 1951, стр. 48.

³⁴ П. Е. Щеголев. Поэма А. С. Пушкина «Монах». — Красный архив, 1928, т. 6(31), стр. 160-201.

³⁵ Эфрос. Назв. соч., стр. 92.

³⁶ Б. В. Томашевский. Пушкин. Книга первая (1813-1824). М.-Л., Академия наук СССР, 1956, стр. 44; ср. Эфрос, назв. соч., стр. 75-76 и след.

художников в «Монахе»: «Этот перечень, - пишет он, - очень характерен. Господствуют имена живописцев итальянской школы, с которыми конкурируют французы. Имена Корреджио и особенно Альбани типичны для вкусов XVIII в.»³⁷.

В противовес А. М. Эфросу с его «литературными источниками» пушкинского перечня художников в «Монахе» Б. В. Томашевский выдвигает другую гипотезу: «Вообще же эти «живописные» отступления являются результатом лицейского преподавания. Лицейские уроки, по видимому, отражали академические вкусы, характерные для конца XVIII и начала XIX в., когда увлекались мифологическими сюжетами в нынешней трактовке»³⁸.

При всей заманчивости гипотезы Б. В. Томашевского она не опирается на факты. В программе лицейского преподавания во времена Пушкина вопросы истории живописи могли рассматриваться либо в курсе эстетики, который читал П. Е. Георгиевский в 1816 г.³⁹, то есть через три года после написания Пушкиным «Монаха», либо на уроках рисования, что едва ли возможно. Последний предмет, как известно, с 1812 г. преподавал С. Г. Чириков (1776-1853)⁴⁰. В воспоминаниях лицеистов, отзывавшихся о нем всегда исключительно благожелательно, ни разу не говорится о том, что он читал лекции по истории живописи или хотя бы упоминал о живописцах на своих уроках. Впрочем, молчание, как известно, не может быть признано достаточным аргументом. Вполне возможно, что, бывая на квартире С. Г. Чирикова⁴¹, Пушкин мог видеть у своего учителя рисования гравюры по картинам художников, которых потом упомянул в «Монахе». Что Чириков не просто преподавал рисование, а и продолжал интересоваться живописью, можно предположить по его письму к лицеисту С. Д. Комов-

³⁷ Там же, стр. 44.

³⁸ Там же, стр. 44.

³⁹ Там же, стр. 677.

⁴⁰ В. Горский. Чириков, Сергей Гаврилевич. - Русский биографический словарь («Чаадаев - Швитков»). СПб., 1905, стр. 395-396. - О назначении гувернера Чирикова преподавателем рисования в 1812 г. см. - Цявловский, стр. 728.

⁴¹ Цявловский, стр. 29-30.

скому от 6 сентября 1814 г. из Петербурга; здесь он сообщает, что еще с двумя лицейскими гувернерами - Р. П. Калиничем и А. Н. Уконниковым - идет в Академию художеств «смотреть различные произведения любителей художеств»⁴².

Если наше предположение и не может считаться достаточно подтвержденным, то, во всяком случае, нет никаких документальных материалов, которые могли бы служить аргументами в пользу гипотезы Б. В. Томашевского о том, что сведения Пушкина по истории западной живописи «являются результатом лицейского преподавания»⁴³. Остается допустить, что интерес Пушкина к живописи в 1812-1813 гг. возник независимо от лицейского преподавания. Может быть, остатки библиотеки Лицея дадут ответ, не почерпнул ли автор «Монаха» сведения о художниках какого-нибудь печатного пособия по истории художеств. - Во всяком случае, аргумент А. М. Эфроса о том, что Пушкин не был в Эрмитаже «в эти годы», то есть в годы написания «Монаха», может быть парирован тем, что незадолго до того, в 1805-1809 гг. была издана роскошная по тому времени «Эрмитажная галерея», в которой воспроизведены штрихами картины Рафаэля, Корреджо, Тициана, Пуссена, Альбани, Сальватора Розы, Ван Дика, даже Пармиджанино (о котором Пушкин слышал в Лицее в курсе «Введения в эстетику» под именем Пармезана). Здесь нет, правда, ни одной репродукции картин Ж. Верне. Следовательно, Пушкин почерпнул сведения о «лунном» Верне из иного источника. Вполне вероятно, что он мог видеть издания, подобные «Эрмитажной галерее», - Дрезденской и др. (Ср. стихотворение «Кипренскому»: «Так Риму, Дрездену, Парижу) Известен впрямь мой будет вид»).

Мы видели, что отдельные стороны проблемы «Пушкин и итальянская культура» в той или иной степени были предметом исследования советских и итальянских ученых, но в целом, в обобщающей форме она не была рассмотрена.

⁴² К. Я. Грот. Пушкинский лицей (1811-1817). Бумаги I-го курса, собранные академиком Я. К. Гротом. СПб., 1911, стр.

⁴³ Томашевский, стр. 44.

Настоящий доклад, конечно, не может исчерпать все наличные материалы и с должной степенью полноты осветить поставленную проблему. Моя цель пересмотреть существующую традицию, не признающую значения поставленной проблемы, и попытаться определить роль и место итальянской культуры в пушкинской концепции мировой литературы.

IV

Интерес Пушкина к итальянской культуре - истории, географии, языку, литературе, живописи и музыке - нельзя рассматривать как простую сумму отдельных знаний, внутренне между собой не связанных. Как будет указано ниже, для подобного утверждения есть достаточные основания. Кроме того, современному советскому читателю, интересующемуся Пушкиным, для правильного понимания проблемы «Пушкин и итальянская культура» нужно отрешиться от наших теперешних исторических представлений и помнить, что в начале XIX в., тогда, когда великий поэт учился в Лицее, а затем находился на юге, Италия, хотя и политически раздробленная и в значительной части не самостоятельная, занимала одно из самых важных мест в жизни тогдашней Европы.

Мы, люди последней трети XX в., привыкли строить свои современноисторические представления, исходя из своеобразной иерархии, сложившейся в послевоенное время. Для нас, кроме нашей Родины, основными политическими силами современности являются США, далее Англия и Франция, и отчасти ФРГ. Во времена Пушкина положение было несколько иным. И это видно вот из чего. В 1815-1816 гг. лицеисты I курса, к которому принадлежал Пушкин, слушали лекции проф. И. К. Кайданова по «Новейшей истории или истории трех последних столетий», сохранившиеся по записям А. М. Горчакова. Профессор во вступительной лекции перечислял главные государства того, что он определял как Южную Европу, - то есть без России, Скандинавских стран, Польши и отчасти Пруссии. Кайданов

в первом периоде новейшей истории называл Испанию, которой принадлежали Сицилия и Сардиния, Францию, Англию, Австрию, захватившую Северную Италию, затем Германию, Папские владения и Турцию⁴⁴. О Венецианской республике Кайданов сообщил, что она «наслаждалась своими богатствами и пренебрегала все прочие дела»⁴⁵. Говоря о Папских владениях, профессор отметил, что власть пап уменьшилась, «ибо народное мнение, на коем она основывалась, поколебалось»⁴⁶.

Вторая лекция Кайданова была посвящена «делам и спорам за Италию». Рассказав слушателям о походах французского короля Карла VIII, Кайданов заметил: «Легче было завоевать Италию, нежели удержать ее за собою»⁴⁷. И так, на протяжении курса Кайданов постоянно в той или иной форме, обращался к теме Италии. У его слушателей неизбежно возникало представление об Италии как об одном из важнейших, если не факторов, то объектов новейшей истории. Народные восстания в Италии, о которых хотя и бегло говорилось в лекциях Кайданова, не могли не обращать на себя внимание лицеистов, так как рассказ об этих выступлениях итальянцев против завоевателей и своих собственных властителей явно шли вразрез с теоретическими утверждениями профессора о том, что «народы (в последние три столетия, - П. Б.) весьма мало принимали участия в делах государственных» и что «внутренние возмущения прекратились»⁴⁸.

По-видимому, лицеисты заметили, - и скорее остальных Пушкин, - что последнему утверждению Кайданова противоречит предложенная им периодизация новейшей истории. Деля три столетия на периоды - с конца XV в. по середину XVII, со второй половины XVII до конца XVIII в. и с конца XVIII в. «до наших дней», то есть до 1812 г., - Кайданов утверждал, что «характер первого периода составляют войны за религию, второго - торговля и войны

⁴⁴ ИРЛИ, Рукоп. отд., ф. 244, оп. 25, № 357, л. 5.

⁴⁵ Там же, л. 6.

⁴⁶ Там же, л. 6.

⁴⁷ Там же, л. 7 об.

⁴⁸ Там же, л. 3.

за нее; третьего - революции»⁴⁹. «Первый, - продолжал Кайданов, - можно назвать происхождением, второй - утверждением, третий - разрушением политического равновесия» (там же).

Как ни несамостоятелен был Кайданов при построении курса⁵⁰, всё же он умело вводил своих слушателей в существо политических фактов, - конечно, в том смысле как тогда понимали историю. Свой курс он начал с характеристики «нового порядка», сложившегося в Европе после XV в. (Эпиграфом к записям лекций Кайданова А. М. Горчаков поставил «*Novus ordo nascitur gerum*»; (возможно, это было указано и самим профессором).

«Европейская система государств, - читаем мы в записях Горчакова, - или соединение пограничных между собою держав, сходствующих в нравах, образовании, религии и соединенных взаимною пользою, есть важнейшее явление новейшей истории»⁵¹. И далее Кайданов обращается к злободневной проблеме - проблеме политического равновесия, и хотя он тут же утверждает, что «многие тщетно покушались разрушить равновесие государств», у его слушателей не могло не создаться впечатление о большой непрочности этой системы и о зависимости этой непрочности от национального характера важнейших европейских народов. «В каждом народе, - говорил Кайданов, - есть общие идеи, имеющие влияние на образ жизни его, которые должно стараться узнать»⁵².

В дальнейшем изложении своего курса Кайданов неоднократно показывал, что итальянские дела на протяжении XV-XIX вв. были причиной нарушения пресловутой европейской системы равновесия.

У нас нет никаких данных, чтобы судить о том, с какой

⁴⁹ Там же, л. 4.

⁵⁰ «Новейшую или историю трех последних веков, до напечатания своего учебника, он (Кайданов, - П. Б.) читал по Герену «*Handbuch der Geschichte des Europäischen Staaten Systems und seiner Colonien*» ... «(И. Я. Селезнев. Исторический очерк императорского бывшего Царскосельского, ныне Александровского лицея. СПб., 1861, стр. 115).

⁵¹ ИРЛИ, Там же, л. 2.

⁵² Там же, л. 2.

степенью серьезности усваивали лицеисты I курса идеи, излагавшиеся Кайдановым. Однако известно, что как раз к истории Пушкин проявлял в Лицее живой интерес и получал очень лестные отзывы Кайданова. Например, «при малом прилежании оказывает очень хорошие успехи, и сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям»⁵³. Может быть, что Кайданов считал «малым прилежанием» Пушкина, объяснялось тем, что поэт явился в Лицей уже подготовленным: С. Л. Пушкин в своем прошении об определении сына в Лицей указывал, что тот «дома приобрел сведения» в разных школьных предметах, в том числе «географии и истории»⁵⁴.

С особой ролью Италии в европейской исторической жизни Пушкин в Лицее знакомился не только на лекциях по истории. В курсе статистики, под которой тогда понимали экономическую географию, лицеисты на первой же лекции, с первых же фраз слышали о том, что «Венеция как хитрейшая республика, содержит в себе в Европе своих посланников, поручала им узнавать» сведения об экономической жизни разных государств»⁵⁵.

Можно сказать больше, об Италии Пушкин в Лицее слышал очень часто на лекциях по самым различным дисциплинам и при его феноменальной памяти запоминал прочно. В дальнейших его высказываниях как общетеоретических, так и конкретно исторических и историко-литературных легко узнаются импульсы лицейских лекций. Например, вышеприведенной фразе из вводной лекции Кайданова: «В каждом народе есть общие идеи, имеющие влияние на образ жизни его, которые должно стараться узнать», - очень близка известная запись Пушкина 1826 г. о народности в литературе: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию — которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев и по-

⁵³ Селезнев. Приложение, стр. 13-14.

⁵⁴ Там же, приложение, стр. 6.

⁵⁵ Институт русской лит-ры, рукоп. отд., ф. 244, оп. 25, № 371, л. 5.

верий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». (XI, 40).

Вполне естественно, что больше всего должен был Пушкин обращать внимание на то, что говорилось в лекциях лицейских профессоров об итальянской литературе. Мы не знаем, читал ли П. Е. Георгиевский лицеистам I курса в своем «Введении в эстетику» раздел об истории словесности, который имеется в обоих изданиях его «Руководства к изучению русской словесности» (1836 и 1842). Так как в целом его «Введение в эстетику», известное нам по незаконченным конспектам А. М. Горчакова, во многом совпадает с печатным текстом «Руководства»⁵⁶, то можно предположить, что Георгиевский читал лицеистам и раздел о словесности древних и новых народов. Если это допущение правильно, то полезно привести здесь основные положения Георгиевского при характеристике итальянской литературы, — это тем более необходимо, что у исследователей вопроса «Пушкин и итальянская литература» единственными источниками знакомства поэта с литературой Италии признаются «История итальянской литературы» Женгене, имеющаяся в библиотеке Пушкина, и «История литературы Юга Европы» Сисмонди. Ознакомление с горчаковскими занятиями лекций Георгиевского по «Введению

⁵⁶ Ср. «Введение в эстетику». «Таковая Аристотелева односторонность причинила многие споры. Италианцы — одни старались дать преимущество Ариосту пред Тассом, другие — пред первым последнему, долго спорили, основываясь на том, который из них более или менее подходит под правила Аристотеля, между тем как они оба превосходные стихотворцы, только каждый в своем роде. Тот писал во вкусе греческом, другой в романическом, который совсем неизвестен был Аристотелю, но тем не менее открывает обширное поле для отменного искусства». — Красный архив, 1937, № 1(80), стр. 167.

«Руководство».

«Такая Аристотелева односторонность была причиною многих споров между италианцами. Одни из них отдавали преимущество Ариосту пред Тассом, а другие сему последнему, основываясь на том, который из этих поэтов более или менее подходит под правила Аристотеля; между тем как они оба превосходны, только каждый в своем роде. — Тасс писал во вкусе греческом, Ариост же в романическом, неизвестном Аристотелю, но тем не менее открывающем обширное поле для искусства».

П. Е. Георгиевский. Руководство к изучению русской словесности. СПб., 1836, ч. I, стр. 3-4; изд. 2-е. СПб., 1842, ч. I, стр. 3-4.

в эстетику» и с более поздним его «Руководством к изучению русской словесности» дают полное основание считать, что Пушкин уже в Лицее получил возможность составить себе общее представление об итальянской литературе.

Уже в общем обзоре новой истории литературы в Европе Георгиевский говорил: «Италия была тою счастливою страной, где, в исходе XIII и в продолжении XIV веков, науки и изящные искусства начали оказывать ошутительные успехи... В XV веке с новым блеском воссиял свет наук на небосклоне Италии... XVI столетие было блистательнейшее в Италии: явились стихотворцы, ученые и школы живописи. Медицисы ознаменовали своим именем эпоху XVI века и заслужили признательность просвещенного потомства»⁵⁷. Переходя к более подробному рассмотрению итальянской литературы, Георгиевский попутно говорит об итальянском языке как «том языке, которого даже обыкновенная речь есть музыка»⁵⁸. В самом обзоре итальянской литературы Георгиевский называет Данте, Петрарку, Ариоста, Тасса, Гварини, Макьявелли, Аламанни, Кьябреру, Гвиди, Нани, Денину, Тассони, Метастазию, Альфиери, Гольдони, Беккариа и Филанджиери⁵⁹. Конечно, классических поэтов Италии Георгиевский характеризовал более подробно, чем второстепенных, и можно считать, что в том, как Пушкин позднее отзывался о некоторых из перечисленных итальянских поэтов, кое-что связано с лицейскими лекциями Георгиевского. Так, например, характеризуя Петрарку, Георгиевский особенно обращает внимание на его канцоны, считает, что у Петрарки они «доведены до такого совершенства, что последующие канционисты не много прибавили к красотам этого рода сочинений»⁶⁰. Может быть, именно этим отзывом Георгиевского о канцонах Петрарки

⁵⁷ П. Е. Георгиевский. Руководство..., ч. IV, стр. 71-72; изд. 2-е, ч. IV, стр. 48.

⁵⁸ Там же, стр. 77; изд. 2-е, стр. 52.

⁵⁹ Там же, стр. 73-79; изд. 2-е, стр. 49-53.

⁶⁰ Там же, стр. 76, ср. далее подробную характеристику канцон, стр. 76-77; изд. 2-е, стр. 51. В записях Горчакова о канцоне сказано то же самое, но короче, см. Красный архив, стр. 156; здесь прямо названы «три Canzone Sorelle. Первые две подлинно неподражаемы и научают истинному характеру канцон».

заинтересовался Пушкин и впоследствии, читая произведения Петрарки в подлиннике, запомнил известные стихи «*Là, sotto giorni nubilosi e brevi...*» из канцоны, посвященной Колонне, и потом, в 1826 г., поставил их, с небольшим сокращением, в качестве эпиграфа в главе шестой «Евгения Онегина».

В дальнейшем изложении обзора итальянской литературы Георгиевский констатирует, «чем более итальянская литература приближалась к новейшим временам, тем заметнее удалялась от свободного своего направления и входила в формы ученой литературы». «Вкус итальянцев, столь быстро и блистательно образовавшийся, — продолжает Георгиевский, — в XVII веке чувствительно изменился, позволив себе много выисканного, не естественного»⁶¹.

Раздел об итальянской литературе Георгиевский заканчивает так: «Справедливость требует однако же сказать, что творения знаменитых поэтов Италии представляют борьбу вкуса романтического с классическим и что в лучших из этих творений нередко смешаны предания древних с понятиями современных народов. Поэзия итальянская служит как бы чертою прикосновения между древнею и новою поэзию»⁶².

Вполне возможно, что на только что приведенных формулировках Георгиевского отразилась более поздняя терминология эпохи борьбы романтизма с классицизмом, известная еще в 1815-1816 гг., когда читался курс «Введения в эстетику» в Лицее, но мы видели, что уже в записях Горчакова Тассо и Ариосто противопоставляются как поэты писавшие один — «во вкусе греческом», другой — «в романическом», один как следовавший «правилам», другой как пренебрегший ими.

Нам придется еще вернуться к этому вопросу, когда мы обратимся к взглядам Пушкина на зарождение романтизма в Италии и его понимания классицизма как следо-

⁶¹ Там же, стр. 78; изд. 2-е, стр. 52. В обоих изданиях запятая стоит после «в XVII веке», что решительно противоречит всему тому, что Георгиевский говорит до этого места. Я перенес запятую до «в XVII веке», считая, что в тексте незамеченная опечатка.

⁶² Там же, стр. 79; изд. 2-е, стр. 53.

вания правилам и романтизма как отказа от них. Сейчас же мы отметим, что, если даже ограничиться только теми материалами, которые сохранились в записях Горчакова, то и то, что они содержат по итальянской литературе и искусству, достаточно разнообразно и даже обширно, хотя, — как и полагается в конспектах, — изложено кратко⁶³.

Так, при характеристике оды, Георгиевский отметил, что «в Италии при классической словесности ни один поэт не возбудился к одопению»⁶⁴. И дальше Георгиевский останавливается на творчестве Кьябреры, Гвиди и Тести, заканчивая утверждением, что «с XVIII столетия итальянцы много потеряли той силы, которая потребна для певца од»⁶⁵.

Говорит Георгиевский далее об итальянской опере⁶⁶, о канцолах⁶⁷, элегиях Ариосто⁶⁸, о живописи Рафаэля⁶⁹, о Джотто и Чимабуэ⁷⁰, Маццуоле («Пармезан») ⁷¹, Корреджио⁷², Микель Анджело⁷³, Альбани⁷⁴, Тициане⁷⁵ и т. д. Кроме того, он бегло упоминает еще об итальянской рыцаркой эпопее, в которой «произошло роскошное смешение комического с важным»⁷⁶ далее о «красивости» (так он передает по русски слово *élégance*) у Петраки⁷⁷, о том, что «из романических стихотворцев Петраркова гра-

⁶³ Насколько местами несовершенны записи Горчакова, можно видеть как по поставленным им самим вопросительным знакам в разных местах текста, так и по многочисленным примечаниям Б. С. Мейлаха: «Так в подлиннике». Ср. также фразу: «Столь затрудняющее сочинителей качество сонета есть причиною, что не можно найти образцов сего стихотворения» (Красный архив, стр. 146). Но в другом месте о сонете сказано: «Итальянцы переняли его у провинциалов (= провансальцев) и с удивительным пристрастием им занимались». (Там же, стр. 157).

⁶⁴ Там же, стр. 154.

⁶⁵ Там же, стр. 155.

⁶⁶ Там же, стр. 155-156.

⁶⁷ Там же, стр. 156.

⁶⁸ Там же, стр. 161.

⁶⁹ Там же, стр. 171, 178, 180, 181, 183, 184, 187, 198.

⁷⁰ Там же, стр. 178.

⁷¹ Там же, стр. 181.

⁷² Там же, стр. 165, 166, 181, 184, 185, 189.

⁷³ Там же, стр. 183.

⁷⁴ Там же, стр. 183.

⁷⁵ Там же, стр. 182.

⁷⁶ Там же, стр. 179.

⁷⁷ Там же, стр. 184.

ция любви заслуживает первое место»⁷⁸. Характеризуя понятие «идеал», Георгиевский ссылается на «Амадиса», «творение Бернарда Тасса, отца Тассова, во 100 песнях и более 7000 стансов»; этот Амадис, - говорит Георгиевский, - «будто б есть идеал совершенного рыцаря»⁷⁹. В самом конце записей Горчакова находится разъяснение слова «burlesque», которое, хотя и дано во французской форме, объявлено итальянским и в связи с этим предлагается рассуждение о комическом высоком и низком. «Только надобно различать итальянского арлекина от обыкновенного», - говорит Георгиевский и поясняет: «Итальянский арлекин, каков у Гоца (то есть Гоцци, - П. Б.), служит возвышением комического, означая повес, хвастунов и педантов»⁸⁰. Не в этой ли характеристике арлекина заключен смысл эпиграммы Пушкина о бюсте Александра I?

Может быть, одним из самых заслуживающих внимания для нашей цели мест в конспектах Горчакова должно признать следующее: «Из новейших народов италиянцы наиболее приближаются к греческому идеалу в пластическом искусстве и в живописи»⁸¹.

Приведенных материалов, кажется, достаточно для подтверждения мысли, что курс Георгиевского, хотя над ним лицеисты и смеялись (ср. куплеты на него «Предположив - и дальше...» [XII, 298-299], по-видимому, принадлежавший Пушкину), не прошел для великого поэта бесследно. По-видимому, предстоит еще более углубленное изучение импульсов, полученных Пушкиным из лекций Георгиевского. Сейчас же, хотя это и не относится к теме «Пушкин и итальянская культура», отмечу, что, возможно, на лекции Георгиевского Пушкин впервые услышал фамилию английского поэта Шенстока, - и, как раз в форме Ченстон⁸²,

⁷⁸ Там же, стр. 185.

⁷⁹ Там же, стр. 187.

⁸⁰ Там же, стр. 206.

⁸¹ Там же, стр. 187.

⁸² «Ченстон, подражавший Тибуллу, соединил в элегиях мечтательность любви с чувством к сельской жизни, с прекраснейшими описаниями» (Там же, стр. 161). Ср.: Путеводитель по Пушкину (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах. Приложение к журналу Красная нива на 1931 год. Т. VI) М.-Л., 1931, стр. 375;

- которому потом приписал «Скупого рыцаря», якобы представляющего перевод трагедии «The covetous knight».

Итак, то, что можно извлечь из заведомо неполных и неточных конспектов Горчакова, свидетельствует о том, что Пушкин мог почерпнуть в Лицее довольно много сведений по итальянской литературе и живописи. И не только мог, но, как явствует из текстов Пушкина, и почерпнул.

По выходе из Лицея и до ссылки на юг Пушкин, конечно, пополнял свои сведения об Италии и итальянской культуре. Это был период активного движения карбонариев, которым живо интересовались в России. В старой работе В. И. Семевского «Политические и общественные идеи декабристов» (1909) ряд страниц отведен «влиянию карбонаризма» в преддекабристское время⁸³. И хотя автор допускает в своем изложении неточности⁸⁴, тем не менее, книга Семевского ценна тем, что в ней собран немалый материал по вопросу о знакомстве прогрессивной части русского общества с деятельностью карбонариев. В. И. Семевский указывает, между прочим, что итальянскому революционному движению этих лет сочувствовали в России многие лица; среди тех, кого он называет, находятся и близкие Пушкину и в Петербуре, и в Кишиневе, и затем в Одессе. Это - Н. И. Туринев⁸⁵, В. Ф. Раевский⁸⁶, И. П. Липранди⁸⁷, М. Ф. Орлов⁸⁸, П. И. Пестель⁸⁹ и др.

А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. VII. Академия наук, (1937), стр. 518. (Комментарий к «Скупому рыцарю» Д. П. Якубовича; здесь лекции Георгиевского названы лекциями Кошанского).

⁸³ В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 364-377 и 246-249.

⁸⁴ Семевский утверждал, что «в первой главе "Онегина" герой Пушкина мог пускаться в рассуждения "О Байроне, о карбонариях"»... (стр. 365). На самом деле, цитированные им стихи находятся в пушкинских черновиках. Вероятно, Семевский заимствовал эти данные из книги: Евгений Онегин. Роман в хехилах А. С. Пушкина. Под ред. В. Е. Якушкина. М., 1887, стр. 234.

⁸⁵ Семевский, стр. 246, 247; Н. И. Тургенев. Дневники и письма за 1816-1824 годы. Т. III, Пг., 1921, стр. 163, 237, 238, 245, 247, 256, 258, 259, 260.

⁸⁶ Семевский, стр. 247, прим. I, 248, прим. I; К. Ф. Мизиано. Итальянское Рисорджименто и передовое общественное движение в России XIX века. - Россия и Италия. Из истории русско-итальянских культурных и общественных отношений. М., 1968, стр. 103.

⁸⁷ Семевский, стр. 248.

⁸⁸ Пушкин, Акад. изд., т. XII, стр. 486.

⁸⁹ Там же, т. XII, стр. 28.

Очень заманчиво было бы установить наличие связей между петербургскими и южными декабристами, с одной стороны, и итальянскими карбонариями. «Однако, - как правильно указывает осторожный проф. Ф. Вентури, - не следует односторонне увлекаться кропотливыми и детальными поисками возможных контактов и связей между итальянскими и русскими тайными обществами». «Разумеется, - продолжает итальянский ученый, - нам хотелось бы знать о них больше, но нельзя забывать, что здесь мы имеем дело с очень ненадежной почвой, где очень легко, поддавшись соблазну, от гипотезы незаметно перейти к утверждению и возможное считать несомненным. В сложном сплетении связей, соединявшем секты, поистине нетрудно запутаться»⁹⁰.

Однако, при всей своей, - впрочем, весьма правильной, - осторожности проф. Ф. Вентури указывает на некоторые факты, которые «можно считать твердо установленными» и называет ряд итальянцев, участников движения карбонариев, завязавших или пытавшихся завязать связи с русскими военными заговорщиками. Таковы Джоанино Прати, далее - Мариано Джильи, уже известный русским исследователям, Аджелони, Буонаротти и др. С русской стороны Ф. Вентури выделяет декабриста Александра Поджио, итальянца по происхождению⁹¹.

Другой итальянский исследователь, участник сборника «Россия и Италия» К. Ф. Мизиано указывает на разные каналы, по которым проникали в Россию сведения о деятельности карбонариев и о революции в Неаполе и Пьемонте⁹², однако упускает из виду, что в России получались в то время в значительном числе иностранные газеты, содержавшие много сведений об итальянских делах. Так, например, Н. И. Тургенев в связи со своими интересами к неаполитанским делам неоднократно упоминает в дневнике о чтении в клубе как либеральных, так и консервативных газет - *Allgemeine Zeitung*, *Oesterreichischer Beobachter*,

⁹⁰ Ф. Вентури. Итало-русские отношения с 1750 до 1825 г. - Россия и Италия, стр. 46-47.

⁹¹ Там же, стр. 49.

⁹² Россия и Италия, стр. 101.

«берлинские», «гамбургские»⁹³. Печатались, хотя и скупно, также сведения и в петербургских газетах - «Санкт-Петербургские ведомости», «*Conservateur impartial*» - и журналах: «*Политическом журнале*», «*Духе журналов*», «*Сыне отечества*»⁹⁴. Впрочем, К. Ф. Мизиано бегло упоминает о том, что об итальянских событиях «газеты сообщали достаточно подробно»⁹⁵, но не говорит, какие газеты, и как освещали эти события.

Несомненно, проникали в общество и слухи, по-видимому, исходившие от приезжих из-за границы русских и иностранцев, от чиновников министерства иностранных дел. Так, Н. И. Тургенев записывает в своем дневнике от 30 июля 1820 г. «Вот уже неделя как известны здесь неаполитанские приключения. Скажу только, что они никого уже не удивили»⁹⁶. В другом месте он отмечает 22 декабря 1820 г.: «Здесь известно, что все из Тропау выехали в Лейбах, куда приедет и неаполитанский король»⁹⁷.

Находясь в Петербурге, Пушкин, как известно, внимательно следил за политическими событиями на Западе и выслан был на юг за явную демонстрацию своей осведомленности в европейском революционном движении. Естественно, знал он и о карбонариях, о которых позднее вспоминал в черновиках к главе первой «Евгения Онегина», - ведь даже Фамусов обвинял Чацкого в том, что «он карбонари» («Горе от ума», д. II, явл. 2), настолько распространен был в реакционных кругах тогдашнего русского общества страх перед итальянским революционным движением.

На годы после окончания Пушкиным Лицея и пребывания в Бессарабии приходится довольно повышенный интерес русских журналов к итальянской теме, несомненно связанной с революционным движением на Апеннинском полуострове. Печатаются статьи географического, исторического, литературного содержания. Так, например, в одном только «Сыне отечества» в 1816-1822 гг. были помещены

⁹³ См. примеч. к предыдущей странице.

⁹⁴ Россия и Италия, стр. 101.

⁹⁵ Там же, стр. 103.

⁹⁶ Тургенев, стр. 235.

⁹⁷ Там же, стр. 256.

путевые письма кн. А. А. Шаховского⁹⁸, художника О. Кипренского⁹⁹, некоего К. Д.¹⁰⁰, морских офицеров Н. В. Коробки¹⁰¹ и В. Б. Броневского¹⁰², а также большая переводная статья об окрестностях Неаполя¹⁰³. Когда вышла книга гр. Г. В. Орлова «Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples» (Р., 1819-1821, 5 vs.), в «Сыне отечества» была напечатана на нее рецензия¹⁰⁴.

Особое внимание было уделено «Сыном отечества» итальянской поэзии. Еще в 1817 г. П. А. Катенин опубликовал здесь отрывок из 33-й песни «Ада» Данте - «Уголин»¹⁰⁵. В 1822 г. в журнале был напечатан сделанный П. А. Катениным же перевод знаменитого сонета В. Филлика - «Италия! Италия! Зачем...»¹⁰⁶, несомненно обративший на себя внимание Пушкина, о чем будет еще сказано в дальнейшем. В. Н. Орлов в комментариях к «Стихотворениям» Катенина вполне правильно определил политический смысл публикации этого перевода в русской прессе в годы непосредственно вслед за подавлением неаполитанской революции¹⁰⁷.

В том же 1822 г. на страницах этого журнала между Катениным и О. М. Сомовым развернулась большая полемика по вопросу о способе переводить Тасса и других

⁹⁸ К.А.Ш. Письмо русского из Флоренции. - *Сын отечества*, 1816, ч. 34, стр. 16-26; К. А. Шаховской. Письма из Италии. Рим. - Там же, 1817, ч. 35, стр. 217-240; Неаполь. - Там же, 1817, ч. 36, стр. 3-20.

⁹⁹ Орест Кипренский. Письмо из Рима. Путь от Петербурга до Рима. - Там же, 1817, ч. 42, стр. 3-25.

¹⁰⁰ К. Д. Отрывок дневных записок путешествия по Италии в 1817 и 1818 г. - Там же, 1818, ч. 50, стр. 3-20 и 69-79.

¹⁰¹ Н. В. Коробка. Письмо о Неаполе (Из писем морского офицера). - Там же, 1821, ч. 69, стр. 206-222.

¹⁰² В. Броневский. Письма морского офицера из Италии. - Там же, 1822, ч. 76, стр. 49-64 и 97-105.

¹⁰³ Там же, 1822, ч. 79, стр. 3-25, 49-70 и 204-217.

¹⁰⁴ В. Соц. О сочинении сенатора графа Орлова. - Там же, 1819, ч. 54, стр. 17-30; ч. 57, стр. 49-59. Г. В. Орлову принадлежат еще следующие книги по Италии: «Essai sur l'histoire de la musique en Italie» (Р., 1822, 2 vs.), «Essai sur l'histoire de la peinture en Italie» (Р., 1823, 2 vs.). Им же были изданы басни Крылова в переводе на французский и итальянский языки (Р. 1825, 2 vs.), с итальянским предисловием ф. Сальфи.

¹⁰⁵ *Сын отечества*, 1817, ч. 35-36, № 9, стр. 97-100.

¹⁰⁶ *Сын отечества*, 1822, ч. 77, № 16, стр. 82.

¹⁰⁷ П. А. Катенин. Стихотворения. Л., «Сов. писатель», 1954 (Б-ка поэта. Малая серия), стр. 297.

итальянских эпических стихотворцев¹⁰⁸. О прозаических переводах «Освобожденного Иерусалима» Тассо, сделанных адмиралом А. С. Шишковым и С. А. Москотильниковым, в «Сыне отечества» была напечатана рецензия В. Н. Олина еще раньше¹⁰⁹. Наконец, - уже выходя за принятые нами хронологические рамки, - отметим полемику между Булгариным и О. Сомовым по поводу отрывка из перевода «Освобожденного Иерусалима», сделанного С. Е. Раичем¹¹⁰.

В «Сыне отечества» находили место также статьи о новостях современного итальянского искусства: в 1817 г. - о статуе Мира, изваянной Кановой¹¹¹, в 1822 г. - биография Кановы¹¹². Этот факт следует особо отметить: М. Н. Розанов считал, что о Канове Пушкин будто бы впервые узнал из Байрона. Но Пушкин интересовался и другими итальянскими скульпторами. Так, известно, что в Одессе в 1824 г. он срисовал статую Джованни да Болонья «Взлетающий Меркурий»¹¹³.

Таким образом, можно не сомневаться, что, отправляясь в южную ссылку, Пушкин знал об освободительном движении в Италии и, конечно, продолжал интересоваться им в Кишиневе, куда через посредство гетеристов и иными путями достаточно подробно и быстро проникали известия о революционном движении в Европе. Позднее Пушкин

¹⁰⁸ П. Катенин. Письмо к издателю. - *Сын отечества*, 1822, ч. 76, № 14, стр. 303-309; О. Сомов. Письмо к издателю «Сына отечества». - Там же, ч. 77, № 16, стр. 65-75; П. Катенин. Ответ г. Сомову. - Там же, ч. 77, № 17, стр. 121-125; О. Сомов. Ответ на ответ г. Катенину. - Там же, ч. 77, № 19, стр. 207-214.

¹⁰⁹ В. О. (Олин). Первое письмо к приятелю о двух прозаических переводах Г.А.Ш. и С. Москотильникова героической Тассовой поэмы «Освобожденный Иерусалим». - *Сын отечества*, 1820, ч. 61, № 18, стр. 233-253.

¹¹⁰ (О. Сомов). Новые книги. - *Северная пчела*, 1825, № 41, стр. 3; В. (Булгарин). Замечания на отзыв г. С. об отрывке Тассова «Освобожденного Иерусалима». - *Сын отечества*, 1825, ч. 101, № 11, стр. 374-389.

¹¹¹ П. Гнедич. Письмо о статуе Мира, изваянной для гр. П. П. Румянцева Кановой в Риме. - *Сын отечества*, 1817, ч. 37, стр. 41-53.

¹¹² Вл. Кн (яжевич), пер. Канова, ваятель. - Там же, 1822, ч. 81, стр. 199-210.

¹¹³ Цявловский, стр. 471.

вспоминал: « Орлов говорил в 1820 г.: революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция здесь, конституция там... Господа государи, вы сделали глупость, свергнув Наполеона... »¹¹⁴.

Эти слова служат неопровержимым доказательством того, что об итальянской революции Пушкин узнал уже в 1820 г. и, может быть, слышал о ней не в первый раз. Во всяком случае, в Каменке, куда поэт поехал в конце 1820 г., он, вместе с собравшимися у В. Л. Давыдова декабристами, безусловно вел беседы о событиях в Неаполе. Через несколько месяцев, в апреле 1821 г., Пушкин писал В. Л. Давыдову:

...и ты и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали!...
Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет... (II, 179).

Уже давно комментаторы установили, что под *той* Пушкин разумел итальянскую революцию, *теми* - карбонариев. « Послание Давыдову, - как отметил Б. В. Томашевский, - писалось непосредственно после падения революционной власти в Неаполе... Карбонарское движение было разгромлено при равнодушии народа, не затронутого революционной пропагандой... »¹¹⁵.

Урок неаполитанской революции Пушкин хорошо запомнил. Вскоре - между декабрем 1823 и апрелем 1825 г.¹¹⁶ - в незаконченном стихотворении « Недвижный страх дремал на царственном пороге » - Пушкин вспоминал о недавнем политическом состоянии « ветхой Европы » и, пе-

¹¹⁴ Пушкин. Акад. изд., т. XII, стр. 486; XII, 304.

¹¹⁵ Томашевский, стр. 555.

¹¹⁶ Цявловский, стр. 424.

речисляя революционные события начала двадцатых годов, отметил:

Шаталась Австрия, Неаполь восставал.

И, когда через несколько лет Пушкин писал главу десятую « Евгения Онегина », опять-таки характеризуя революционные двадцатые годы, вновь напомнил:

Тряслися грозно Пиринеи,
Волкан Неаполя пылал.

По-видимому, в 1821 г. Пушкин впервые познакомился с произведениями Байрона и, как он сам признавался, « с ума сходил от аналитского поэта ». Естественно, что песнь четвертая « Паломничества Чайльд-Гарольда », посвященная Италии, должна была произвести на Пушкина особенно большое впечатление. Вскоре он упомянул об этом в главе первой « Евгения Онегина », говоря об Италии о ее « волшебном гласе ».

Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.

(EO, I, XLIX).

Обычно эти слова воспринимают как « автопризнание » Пушкина по части влияния на него Байрона. М. Н. Розанов, да и немногие другие лица, писавшие об итальянской теме у Пушкина, останавливались на, так называемых, прямых или косвенных заимствованиях поэта из песни четвертой « Чайльд Гарольда », в частности на знаменитом « напеве Торкватовых октав ».

Однако гораздо важнее другое, а именно: какое впечатление произвела идея поэмы Байрона, в особенности ее последней песни, посвященной философии истории Италии, на Пушкина, близко принимавшего к сердцу неудачи неаполитанской революции?

В последнем, 186-м стансе, «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрон писал:

Прощайте! Я замедлил с этим словом
И медлю. Но - прощайте. Коль с моим
Скитальцем шли вы по путям суровым
Вплоть до конца и сказанное им
Запомнили, сдружившись хоть с одним
Воспоминаньем, - то ремни сандалий
Недаром затянул мой Пилигрим...
Прощайте же! Ему - его печали,
Коль есть они, а вам стихи уроком стали¹¹⁷.

О каком уроке говорит здесь Байрон?

Всматриваясь в текст песни четвертой поэмы, легко заметить в ней две линии историко-философских размышлений Байрона (именно Байрона, а не его героя - ведь 1-ый станс начинается словами «Я стою», и только в 164-м стансе Байрон вспоминает о герое поэмы, «в былом ее скреплявшем Пилигриме», который «давно вне темы»).

Итак, первая линия - это размышления об исторических судьбах Италии, в прошлом - великой страны, ныне - «рабы» и друга, и врага (ст. 42-43)¹¹⁸. В этой связи у Байрона встает вопрос, долго ли будет Италия такой? Европа должна исправить эту роковую ошибку истории.

Италия! Пора всем странам встать,
Чтоб кончились навек твои мученья.
Ты, мать искусств, была оружия мать,
Наставница, ты в прошлом - Попеченье.
Отчизна веры нашей! Поколенья
В тебе искали ключ от райских врат.
Да не снесет Европа преступленья
И, орды варваров погнав народ,
Свободу даст тебе. Тогда ее простят.

(Ст. 47).

¹¹⁷ Дж. Байрон. Избранные произведения. М., Гослитиздат, 1953, стр. 135 (пер. Г. Шенгели).

¹¹⁸ Эти две строфы представляют перевод знаменитого сонета Винченцо Филикайя. См. об этом сонете ниже.

Но Байрон не убежден в том, что это состоится:

Иль народы
В Европе лишены уже семян свободы?
(Ст. 96).

— неуверенно спрашивает он. Поэт с грустью восклицает, повторяя слова поэта В. Филикайя:

О боже! Если б ты не столь прекрасной
Была, но мощной, - страх внушала б ты
Грабителям, что стаей самовластной
Льют кровь твою, смеясь тоске твоей безгласной.
(ст. 42)

Поэт все же верит в творческие силы великой страны:

Италия! Пусть десять тысяч дыр
Века прожгли в твоей святой порфире,
Лишь ты нашла, единственная в мире,
Дух творчества в руинах. Искони
Твой прах пропитан реющим в эфире
Божественным живым лучом...
(ст. 55).

Такова первая линия историко-философских размышлений Байрона в итальянской песне «Паломничества Чайльд-Гарольда», - если можно так выразиться, конкретно-историческая. Но параллельно с ней развивается поэтом вторая линия, - общетеоретическая.

Рисуя одну историческую картину за другой, - как из прошлого Рима, так и из летописей средневековой Италии, - Байрон приходит к обобщению:

Вот смысл людских анналов! Повторенье
Всего, что было много раз в былом:
Свобода, дальше - Слава, их паденье,
Богатство, гниль и варварство потом!
Из всех страниц Истории прочтем
Одну страницу; здесь она, - гляди же, -
Где Деспотизм слепил в единый ком
Все наслажденья, теша взор бесстыдный,
Слух, душу, сердце, страсть... Довольно снов! Иди,
[же,

Дивись, хвали, плачь, смейся, презирай:
Все чувства здесь.

(ст. 108-109)

Однако поэт не просто призывает к равнодушию по отношению к повторяющемуся историческому процессу, как можно было бы заключить на первый взгляд из приведенных слов. Он верит в то, что История - Время -

« философ, а не лжец
И не софист, как прочие; нескорый
Судья, но приходящий наконец!
О Время - мститель!

(ст. 130).

Время, говорит Байрон, - это богиня возмездия - Немезида (ст. 132) и она « пробудится вдруг и отомстить должна » (ст. 133). Не приходится и говорить, что Байрон имеет здесь в виду народную революцию, сметающую иноземных захватчиков и отечественных угнетателей. Он верит в силы свободы:

Но стяг твой, Вольность, все же вьется, рваный,
Грозой летя, ветрам наперекор;
Твой рог надтреснут, но, сквозь ураганы,
Его призыв нам слышен до сих пор.
Цвет облетел с твоих дерев; топор
Оставил на коре свои надрубы;
Но соки есть, и семя в недрах пор
Спит даже там, под северною шубой;
И лучшая весна даст плод, уже не грубый...

(ст. 98).

Можно не сомневаться, что Пушкин, проницательный читатель, отлично понял обе историко-философские линии песни четвертой « Паломничества Чайльд-Гарольда », а также запомнил острые и верные суждения Байрона о великих итальянских поэтах и художниках, запомнил мастерские пейзажи Италии и художественные описания ее архитектурных памятников. Но больше всего, - можно думать, - привлекла Пушкина идея прирожденной итальянской вольности, непокорности деспотизму, сопротивления тирании. Вероятно, именно так надо понимать слова Пушкина:

... волшебный глас!
... он мне родной.

(EO, I, XLIX).

Не мог пройти Пушкин и мимо 127-го станса (в 126-м упоминается анчар!). В 127-м стансе Пушкин, преследовавшийся правительством Александра I, нашел совсем « родные » звуки:

Но будем смело размышлять. Позор -
Отказ от права мыслить! В нем, в едином,
Прибежище, приют наш с давних пор;
В нем был я и останусь господином!
Как этот дар небесный ни глуши нам,
Как ни терзай запреты, цепь, тюрьма
(Чтоб ненароком над умом невинным
Свет истины не воссиял) - ума
Коснется луч! Слепцам снимают муть бельма!

Песнь четвертая « Паломничества Чайльд-Гарольда » была для Пушкина значительным импульсом к новому осмыслению проблемы Италии. К тем школьным знаниям географии, истории, литературы и живописи Италии, которые Пушкин вынес из Лицея, к тем сведениям о политической ситуации в Пьемонте, Неаполе, Венеции и других итальянских областях, которые поэт черпал из современной газетной и устной информации, присоединилась глубокая по идейному содержанию и блестящая по художественно безупречной форме философия истории Италии, ее культуры, ближайших судеб ее народа. С этого времени интерес Пушкина к итальянской культуре становится определенным и отчетливым, и одним из ближайших следствий этого было, по-видимому, изучение Пушкиным итальянского языка.

Вопрос об изучении Пушкиным итальянского языка, несмотря на наличие специальной литературы, освещен недостаточно. Прежде всего - когда начал поэт знакомиться с итальянским языком, в зрелом ли возрасте или еще на юге?

Ада Биолато Миони в связи с вопросом о том, знал ли Пушкин по-итальянски, писала: « Темперамент филолога par excellence, одаренный поразительной памятью, с детских лет превосходный знаток двух языков, наиболее близких к нашему, латыни и французского, он обладал хорошей подготовкой для ознакомления с итальянским языком

с самого начала своего пребывания на юге»¹¹⁹. К словам итальянской исследовательницы надо прибавить, что несомненно в какой-то мере за два с лишним года жизни в Кишиневе Пушкин, по-видимому, приобрел некоторые сведения и в молдавском языке, и это также могло способствовать более легкому и быстрому его знакомству с итальянским языком.

Обращает на себя внимание также и то, что сохранившаяся в библиотеке Пушкина итальянская грамматика (на французском языке) Ф. Валерио, была издана в Москве в 1822 г.¹²⁰. Возможно, она была приобретена Пушкиным в том же году в Кишиневе.

Таким образом, мне кажется бесспорным, что Пушкин знал итальянский язык еще до высылки из Петербурга, а на юге, — возможно, благодаря Раевским, стал больше и систематичнее заниматься изучением языка и литературы Италии. Несомненно, знакомство Пушкина с «Паломничеством Чайльд-Гарольда» сыграло в этом повышении его интереса к итальянскому языку значительную роль.

Для целей моей статьи нет необходимости приводить все материалы, относящиеся к теме «Пушкин и итальянская культура». Это с достаточной степенью полноты сделали в свое время М. Н. Розанов и Ада Биолато Миони. Я считаю целесообразным ограничиться только добавлением в разных местах моей работы тех сведений, какие остались неиспользованными этими исследователями. Главное же внимание, по-моему, необходимо сосредоточить на вопросе о том, было ли у Пушкина обобщенное, целостное представление об итальянской культуре и о роли итальянского народа в мировой истории.

Как ни разрозненны и отрывочны находящиеся в нашем распоряжении материалы, все же они позволяют дать определенный и, — заранее скажу, — положительный ответ на поставленные вопросы.

Мы видели, что еще из курса новейшей истории И. К.

¹¹⁹ Ada Biolato Mioni, стр. 264.

¹²⁰ В. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. — Пушкин и его современники, вып. IX-X, СПб., 1909, стр. 355, № 1472.

Кайданова и в частности из его вступительной лекции Пушкин мог усвоить мысль о том, что в каждом народе есть общие идеи, имеющие влияние на образ жизни его, которые должно стараться узнать.

Сохранившиеся историко-литературные и исторические заметки Пушкина дают основание полагать, что проблема национального характера, установления некоего «общего» в жизни народов уже в 20-х годах очень интересовала его. В программе статьи «О французской словесности», относимой к 1822-1824 гг., Пушкин писал: «Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! — обычай, история, песни, сказки — и проч». (XII, 192).

В статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» Пушкин бегло останавливается на проблеме национального характера и духа народов. Затем статью «О народности в литературе» Пушкин заканчивает уже приведенной выше (см. стр. 20) цитатой об «особенной физиономии» каждого народа. Не стану приводить других аналогичных высказываний Пушкина; и без них ясно, что «народность» в литературе он понимал как проявление географически и исторически сложившихся особенностей народа. Это подтверждается, — не могу все — таки не привести этой цитаты, — одним местом в рецензии на альманах «Северная лира», где Пушкин сопоставляет Петrarку и Ломоносова: «Отдаленные друг от друга временем, обстоятельствами жизни, политическим положением отечества, они сходятся твердостью, неутомимостью духа, стремлением к просвещению, наконец уважением, которое умели приобрести от своих соотечественников». (XI, 48).

Неудивительно поэтому, что проблему народности Пушкин связывает с не менее волновавшим его литературных современников и его самого вопросом о романтизме. Мне кажется, что все писавшие о пушкинской концепции романтизма не учитывают одного существенного историко-литературного обстоятельства. Проблему классицизма и романтизма Пушкин воспринимал как модификацию старой дискуссии, возникшей во Франции еще в конце XVII в. и продолжавшейся в продолжении всего XVIII; это известная

Querelle des anciens et modernes (спор о древних и новых). Зачинатель этой дискуссии Ш. Перро, более известный как составитель знаменитого сборника «Сказок моей матери-гусыни», противопоставил новых европейских писателей как писателей христианских античным как писателям язычникам. В дальнейшем спор углубился и принял другие формы, на которых нам сейчас останавливаться нет необходимости. Важно только то, что в середине XVIII в. прочно установилось, - и во французской, и в ряде других литератур, - противопоставление «древних» «новым». Первые считались строгими последователями «правил» и «подражания образцам»; признаком вторых была свобода от предписания догматической поэтики. Поэтому Буало с его «Искусством поэзии», хронологически «новый» писатель, воспринимался из-за своей нормативности «древним».

Что Пушкин связывал борьбу классиков и романтиков с дискуссией о древних и новых, явствует из его чернового письма к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г. Вот что писал Пушкин: «Говоря об романтизме, ты где-то пишешь, что даже стихи со времени революции носят (свой) новый образ - и упоминаешь об А. (ндре) Ш. (енье). Никто более меня не уважает, не любит этого поэта - но он истинный грек (непроходимый) из классиков классик. C'est un imitateur savant et rien de (plus) От него так и пахнет (древно <стью>) Феокритом и Анфологию (C'est un). Он освобожден от италийских concetti и от французских antithèses - но романтизма в нем нет еще ни капли». Затем Пушкин продолжает: «Парни - древний (...) La Vigne (подражатель) школьник Вольтера - и бьется (всё) в старых сетях Аристотеля». - «Романтизма, - заканчивает свою мысль Пушкин, - нет еще во Франции. А он-то и возродит умершую поэзию. - Помни мое слово - первый поэтический Гений в отечестве Буало - ударится в такую бешеную свободу, что что твои немцы» (XIII, 381).

Вполне естественно возникает вопрос, о каких немцах думал Пушкин, когда писал эти строки. Ответ дает один из его набросков статьи о Байроне. Здесь Пушкин писал: «Фауст есть величайшее создание поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии, точно как Или-

ада служит памятником классической древности» (XI, 51).

Итак, Гете - «новый», то есть романтик, и именно потому, что он, во-первых, свободен от «правил», а во-вторых, представляет поэзию, созданную в другом «клима-те, образе правления, вере».

Через несколько времени после цитированного выше письма Пушкин снова обращается к Вяземскому (25 мая 1825 г.) и опять говорит о романтизме. «Кстати, - пишет он, - я заметил, что все (даже и ты) имеют у нас самое темное представление о романтизме». Затем он подтверждает свою мысль цитатой из незадолго до того напечатанной статьи Н. А. Полевого: «В Италии, кроме Dante единственно, не было романтизма». И тут же Пушкин возражает Полевому: «А он (романтизм) в Италии-то и возник. Что ж такое Ариост? а предшественники его, начиная от *Vuovo d'Antona* до *Orlando innamorato*?» (XIII, 184).

Таким образом, в общей историко-литературной концепции Пушкина на долю Италии выпала самая важная роль в развитии литературного процесса, - именно в ней зародился романтизм, искусство, свободное от стеснительных чужих правил; в Италии возникла поэзия, выражающая современность и отказавшаяся от «подражания образцам». Здесь нужно напомнить, что Пушкин не отрицал правил вообще. Он неоднократно утверждал, что писателя надо судить по правилам, им самим себе поставленным, что критика «основана на совершенном знании правил, коими руководствуется художник или писатель в своих произведениях»; при этом Пушкин требовал от критики исторического подхода и внимательного отношения к текущей литературной жизни. - «Критика основана, - говорил он, - на глубоком изучении образцов и на деятельном наблюдении современных замечательных явлений» (XI, 139).

Но противопоставление Пушкиным «новых» «древним», «романтиков» «классикам» нельзя правильно понять, если не обратиться к его статье «О поэзии классической», в которой он изложил свою концепцию. Здесь Пушкин за критерий отнесения какого-либо произведения к «роду классическому» или «поэзии романтической» берет не «дух», а «формы». Под «духом» он понимает то новое,

что, по сравнению с античностью, внесли в развитие европейских литератур крупные исторические события средневековья. « Два обстоятельства, - пишет Пушкин, - имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы », - далее Пушкин прослеживает развитие новой романтической поэзии в Европе и считает, что « она является нам соперницею древней музыки ». Казалось бы, романтическая поэзия имела все данные развиваться дальше, но во Франции, где романтическая поэзия была еще « в ребячестве », « образованные умы века Людовика XIV справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к древним образцам. Буало обнаружил свой Коран - и французская словесность ему покорилась ». (XI, 37-38). В другой статье « О ничтожестве литературы русской » Пушкин вновь обращается к вопросу о происхождении французского классицизма и связывает это с дальновидной политикой Ришелье: « Великий человек, унизивший во Франции феодализм, захотел также связать и литературу. Писатели (во Франции класс бедный и насмешливый, дерзкий) были призваны ко двору и задарены пенсиями, как и дворяне. Людовик XIV следовал системе кардинала. Вскоре словесность сосредоточилась около его трона ». Из этой цитаты ясно, что классицизм Пушкин связывал с политической реакцией, шедшей из придворных кругов. Примеру Франции, - продолжает Пушкин, - последовали и другие государства. Даже Италия отрекается от гения Dante, Метастазии подражает Расину ». (XI, 271-272).

Новый подъем « романтической поэзии » в XVIII в. Пушкин связывает с « духом исследования и порицания », то есть научного анализа и критики, обнаружившимся в новое время. Мастерски набросав развитие литературы раннего Просвещения, Пушкин приходит к выводу: « Старое общество созрело для великого разрушения ». И все же « Европа, оглушенная, очарованная славою французских писателей, преклоняет к ним подобострастное внимание ». (XI, 272). Иными словами, французский классицизм, хотя Революция и произошла, продолжает мешать свободному развитию романтической поэзии европейских народов. Клас-

сицизм это не только литературная, но и политическая реакция; романтизм не только литературный, но и политический прогресс, - таков смысл статей Пушкина о классической и романтической поэзии.

Все сказанное позволяет понять многое в отношении Пушкина к итальянской литературе и отдельным ее деятелям. Именно потому, что « подражание образцам » Пушкин считал признаком « древних » или классиков, объясняется ставившее исследователей в тупик изменение его отношения к любимцу лицейского периода Торквато Тассо.

Но Пушкин ценил в Италии не одно только то, что в ней зародился романтизм, то есть свободное от преклонения перед авторитетами, самостоятельное творчество, но и то, что в ней рано сложилась высшая в тогдашней Европе культура. В заметке о « Ромео и Джульете » Пушкин писал о трагедии Шекспира: « В ней отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком исполненным блеска и *concetti* ». Затем Пушкин останавливает внимание на образе Меркуцио, которого называет « образцом молодого кавалера того времени ». « Изысканный, привязчивый, благородный Меркуцио есть замечательнейшее лицо из всей трагедии, - продолжает Пушкин и, пользуясь своей фразеологией, которую употреблял в аналогичных случаях, заканчивает характеристику Меркуцио, перерастающую в характеристику всего итальянского народа шекспировской эпохи. - Поэт избрал его в представителе итальянцев, бывших модным народом Европы, французами XVI века ». (XI, 83).

Мысль о том, что XVI век был вершиной самостоятельной и свободной итальянской культуры и что последующее столетие было периодом временной утраты ее достижений, проскальзывает у Пушкина в нескольких местах. Споря с утверждением Бестужева-Марлинского о том, что якобы существует закон, согласно которому вслед за периодами гениев в каждой литературе идет « век посредственности, удивления и отчета », Пушкин приводит в доказательство неправильности этой мысли пример из истории итальянской литературы: « После кавалера Marino

явился Alfieri, Monti и Foscolo» (XI, 25) В другом варианте мысль Пушкина приняла такую форму: «В Италии Dante и Petrarca предшествовали Тассу и Ариосту, сии предшествовали Alfieri и Foscolo» (XIII, 177). Этим самым Пушкин подчеркивал неиссякаемость итальянского национального гения и особо отмечал оригинальность писателей каждой эпохи. В то же время Пушкин не проходил мимо тех явлений итальянской литературы, которые шли вразрез с его представлениями о правильном пути литературного развития. Нападая, как всегда, на тех писателей, которые шли «столбовою дорогою подражания», Пушкин, характеризуя отрицательное влияние французской литературы на литературы европейских народов, говорил, между прочим, и об итальянцах: «Италия отрекается от гения Dante, Metastasio подражает Расину». (XI, 272).

Пушкина не могла не интересовать дальнейшая судьба итальянской культуры. К тому, что собрано М. Н. Розановым и Адой Биолато Миони, прибавим следующее. В библиотеке Пушкина сохранилась книга «Lettres historiques et critiques sur l'Italie» известного писателя XVIII в. Ш. де Бросса. В статье «Вольтер» характеризует эту книгу и, - любопытно, - дает ей несколько другое название: «L'Italie il y a cent ans». Вот что писал Пушкин об этой книге: «... лучшими из (...) произведений (де Бросса, - П. Б.) мы почитаем письма, им написанные из Италии в 1739-1740 и недавно вновь изданные под заглавием «L'Italie il y a cent ans». В этих дружеских письмах де Бросс обнаружил необыкновенный талант. Ученость истинная, но никогда не отягощенная педантизмом, глубокомыслие, шутливая острота, картины, набросанные с небрежением, но живо и смело, ставят его книгу выше всего, что писано было в том же роде». (XII, 75).

Изучая итальянскую литературу XVIII в. Пушкин, естественно, не мог пройти мимо Д. - Б. Вико. В его библиотеке сохранился том «Новой науки» Вико во французском переводе под названием «Principes de la Philosophie de l'Histoire» со вступительной статьей Ж. Мишле, содержащей изложение системы взглядов итальянского мыслителя. Однако, по-видимому, книга Вико не заинтересовала Пушкина: из 470

страниц этого издания разрезаны были только 143, всего около 1/3 тома, причем полностью статья Мишле и всего лишь 65 страниц авторского текста. Однако отдельные места прочитанного текста обратили на себя внимание Пушкина. Так, на стр. 33 поэт отчеркнул на полях и заложил закладкой афоризм 17: «Простонародные выражения являются наиболее важными свидетельствами народных обычаев эпохи формирования языков». Несомненно, эта мысль Вико привлекла Пушкина тем, что совпадала с его собственным взглядом на этот вопрос. Сохранились его записи пословиц со сделанными Пушкиным толкованиями; эти записи относятся издателями Пушкина к 1825 г.; книга же Вико была издана в Париже в 1827 г. и попала в руки Пушкина, по-видимому, в 1828-1829 гг. Попутно замечу, что о пословицах Пушкин предполагал писать статью для «Современника».

Другая мысль Вико, также отчеркнутая Пушкиным и также снабженная закладкой, остановила на себе внимание поэта остротой своей психологической наблюдательности: «Большие страсти не умеряются песней, как наблюдается при чрезмерной скорби или радости».

Наконец, третий афоризм Вико, отчеркнутый Пушкиным и также сопровождаемый закладкой, должно быть привлек его конкретной характеристикой ямбического стиха, столь любимого поэтом: «Ямбический стих в наибольшей степени приближается к прозе; ямб, как говорит Гораций, это - метр стремительный»¹²¹.

Как очевидно из приведенных цитат, ни одна из характерных идей Вико, - ни в тексте автора, ни в предисловии Ж. Мишле, - не задержала внимания Пушкина. По какой причине, сказать трудно.

В «Евгении Онегине» Пушкин упоминает не только привычны для него имена великих итальянских поэтов, - Данте, Петрарки, Торквато Тассо, - и современного прозаика «Манзони» (VI, 183), а также художника, - Альба-

¹²¹ Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание. - Пушкин и его современники. Вып. IX-X. СПб., 1910, стр. 358.

ни, - но в черновиках и Пульчи, и Парини (VI, 463). Появление Парини очень любопытно. Упоминание о нем находится в варианте строфы LV (последней) главы седьмой, законченной Пушкиным осенью 1828 г. в Малинниках. «О Муза Пульчи и Парини! На мой неблагодарный труд Взгляни с улыбкою...» Имя Парини называется здесь в первый и единственный раз во всем творчестве поэта и данное упоминание представляет неоспоримое свидетельство того, что Пушкин знал если не все произведения итальянского сатирика, то, по крайней мере, общий характер его поэзии. Наличие подобного свидетельства имеет большое значение. Еще в 1825 г. в «Московском телеграфе» Н. А. Полевой в рецензии на главу первую «Евгения Онегина» мельком сопоставил роман Пушкина с «Днем» Парини и даже высказал предположение, что «в Онегине есть стихи, которыми одолжены мы, может быть, памяти поэта»¹²². Версию о Парини как возможном источнике романа Пушкина через сто с небольшим лет снова пытался обосновать итальянский литературовед С. ди Фриско в статье «Una fonte italiana nell'Eugenio Onjegin di Puškin»¹²³. Если судить по цитатам из работы ди Фриско, приведенным в статье проф. Э. Ло Гатто «Пушкин и Парини», - самой работы ди Фриско я достать не мог, - автор новой гипотезы глубоко убежден в неопровержимости своей идеи¹²⁴. Однако осторожный исследователь Э. Ло Гатто, сопоставив тексты «Дня» Парини, «Послания к петербургскому жителю» Я. Н. Толстого, «Светского человека» Вольтера и «Евгения Онегина», пришел к более правильному выводу. Он пишет: «Хотя все три произведения (Парини, Вольтера и Толстого) были в какой-то мере известны Пушкину и все три были читаны им до создания «Онегина», все они и в отдельности и в целом способствовали созданию вокруг образа Онегина некоей «обстановки», которая не была характерной ни специально для Петербурга, ни для Парижа, ни для Милана, но была общей в аналогичных социальных

¹²² Московский телеграф, 1825, ч. II, №, март, стр. 50.

¹²³ Rassegna nazionale, 1930, Febbraio.

¹²⁴ E. Lo Gatto, Puškin, p. 614-615.

условиях жизни, как, впрочем, резко подчеркнул и сам Вольтер:

Итак, друзья мои, когда вы знать хотите,
Могу вам рассказать, как в наш проклятый век, -
В Париже, Лондоне, и в Риме, и в Мадриде,
Проводит дни свои почтенный человек¹²⁵.

Конечно, Э. Ло Гатто прав, подходя к вопросу о «зависимости» Пушкина от Парини с историко-культурной точки зрения, видя во всех четырех произведениях, сопоставляемых им, результат европейской традиции сатирического осмеяния «щеголя». Не будет удивительно, если обнаружатся и в других литературах аналогичные явления, хотя бы хронологически и не совпадающие с перечисленными выше поэмами.

И хотя Э. Ло Гатто, как мы видели, исходил из предположения, что произведения Вольтера, Толстого и Парини были «в какой-то мере известны Пушкину, в самом конце статьи он пишет: «Если Парини и был все-таки знаком Пушкину, то он входил только в качестве подлежащего рассмотрению составного элемента широкой культуры»¹²⁶. Это «если» звучит несколько странно, так как итальянскому исследователю по справке, доставленной Б. В. Томашевским, известен стих

О Муза Пульчи и Парини!¹²⁷

Однако у Э. Ло Гатто есть основания не настаивать на своем предположении, что Пушкин знал Парини и читал его «Дни» до того, как стал писать главу первую «Онегина». Одним из аргументов, приводимых Ло Гатто в пользу своей гипотезы, является место в письме Пушкина к А. А. Дельвигу от 23 марта 1821 г., где поэт предлагает своему другу: «Напиши поэму славную, только не четыре части дня и не четыре времени года». Слова «четыре

¹²⁵ E. Lo Gatto, Puškin, p. 632.

¹²⁶ Там же, стр. 637.

¹²⁷ Там же, стр. 617.

части дня» итальянский профессор, - впрочем, вслед за П. Н. Сакулиным, Б. Л. Модзалевским и Н. О. Лернером, - относит к Парини. Однако это явное недоразумение: «четыре части дня», как первый указал Ал-др Н. Веселовский, были взяты Пушкиным из стихотворения А. Ф. Воейкова «К Ж.» (то есть «К Жуковскому»), здесь Воейков рекомендует своему адресату - написать четыре части дня, написать четыре времени, написать поэму славную. П. Н. Сакулин по этому поводу пишет: «... «четыре части дня», по нашему мнению, - намек на Парини». «Едва ли, - продолжает он, - здесь нужно думать о стихотворении Беркен (!) (Berquin, 1749-1791), также озаглавленном «Четыре части дня» и переведенном Пав. Голенищевым-Кутузовым (М., 1805)».¹²⁸ Почему «едва ли здесь нужно думать о стихотворении Беркен», П. Н. Сакулин не говорит, да, впрочем, это и не нужно, так как «Четыре части дня», переведенные П. И. Голенищевым-Кутузовым, вовсе не стихотворение Беркена, а поэма кардинала Фр. Берни (1715-1749). Да и из стихотворения Воейкова «К Ж.» никак нельзя заключить, что этот любитель «описательной поэзии», переводчик «Садов» Делиля и «Георгик» Вергилия, наряду с «Четырьмя временами года» Томсона¹²⁹, станет вдруг рекомендовать сатирическую поэму Парини. Но, если даже на некоторое время мы согласимся, что Воейков имел в виду Парини, выходит, что Пушкин не советовал Дельвигу писать в подражание итальянскому поэту, а это значит, что Парини не понравился Пушкину. Тогда как же могла поэма «День» войти «как составной элемент широкой культуры», - повторяю слова Э. Ло Гатто, - «в широкую культуру Пушкина?».

Проф. Ло Гатто предполагает, что Пушкин познакомился с поэмой Парини по французскому переводу аббата

¹²⁸ П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. - Писатель. Т. I, М., 1913, стр. 239, прим.

¹²⁹ Впрочем, полной уверенности, что речь здесь идет именно о Томсоне, быть не может, так как в промежутке между 1795 и 1809 гг. было издано на русском языке несколько переводов под таким названием. См. Сопиков. Опыт русской библиографии. Изд. 2-е, т. IV, стр. 127.

Депрада (1776)¹³⁰. Не понятно, почему. Известно, что в 1814 г, в Париже вышел еще один перевод¹³¹, который - хронологически - скорее мог попасть в руки Пушкина. У нас нет никаких доказательств того, что Пушкин знал «День» Парини, - в итальянском ли оригинале или во французском переводе, - до того как стал писать главу первую «Онегина». Но, в то же время, можно предполагать, что незадолго до того, как в Малинниках он воззвал к Музе Пульчи и Парини, он мог прочесть в оригинале хотя бы первые три части «Дня», который сохранился в библиотеке с. Тригорского (ныне во Всесоюзном Пушкинском Музее). Вот описание этой книги: «Il Mattino, il Mezzogiorno e la Sera. Poemetti tre» (Venezia, 1779)¹³².

Я хорошо знаю, что в данной работе далеко не исчерпана поставленная мною тема. Предстоит еще долгое и кропотливое собирание и критическое изучение не учтенных мною, не известных мне материалов, возможно, многие мои предположения и догадки в дальнейшем не подтвердятся, но я отношусь к этому спокойно: такова судьба каждого исследователя, обращающегося к мало разработанной теме. Но в одном я уверен. Сейчас, после предложенных вниманию читателей фактов, мне кажется, не может быть сомнений в том, что тема «Пушкин и итальянская культура» - не выдуманная тема, что в общекультурном и историко-литературном сознании поэта Италия занимала большое и серьезное место, что к концу жизни он со все большим интересом и живым сочувствием следил за развитием итальянской литературы, связывая это с общеевропейской и русской литературной жизнью.

Не учитывать это - значит обеднять то великое явление, которое представляет Пушкин в мировой культуре.

Любопытна характеристика, которую дает Пушкин Ни-

¹³⁰ Lo Gatto, стр. 616.

¹³¹ Biographie universelle, ancienne et moderne, t. 42, P., 1822, p. 569.

¹³² Б. Л. Модзалевский. Поездка в с. Тригорское в 1902 г. - Пушкин и его современники, вып. I, стр. 35 (№ 166). В Тригорской библиотеке имелись еще сочинения Метастазии (№ 157), Гольдони (№ 160) и еще 10 названий на итальянском языке, оригинальных (аб. Кьяри и др.) и переводных.

коло Макиавелли. Он называет итальянского философа « бессмертным флорентинцем » и « великим знатоком природы человеческой » Запись эта, относящаяся к 1834 г., очень близка по содержанию к фразе, включенной в характеристику Екатерины II в известных « Заметках по русской истории »: « Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства ». (VI, 15). Повидимому, Пушкин читал Макиавелли еще до 1822 г., когда были написаны « Заметки по русской истории ».

В библиотеке Пушкина были два издания Макиавелли, - оба во французском переводе; одно - полное в 12 тт., второе - избранные мысли Макиавелли. В полном собрании в т. III, где напечатан трактат « Государь », между стр. 28 и 29 Пушкиным была положена закладка. Какая мысль Макиавелли заставила Пушкина сделать это, сказать трудно.

Глеб Струве

К БИОГРАФИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

А. Белый и А. А. Тургенева

I

В конце 1969 г. в издании Гуверовского Института при Станфордском университете в Калифорнии вышла книга Н. Валентинова (Вольского) « Два года с символистами », в которой он рассказывал о своих встречах и разговорах с Андреем Белым, с его другом Эллисом (Л. Л. Кобылинским), с В. Я. Брюсовым и с М. О. Гершензоном. Раньше, еще при жизни автора (он скончался под Парижем в августе 1964 г.), эти интересные и ценные воспоминания печатались отдельными кусками в нью-иоркском « Новом Журнале » и в русских зарубежных газетах. После смерти Н. В. Вольского его друзья просили меня взять на себя редактирование книги, которую согласился издать Гуверовский Институт. Сам Вольский еще при жизни надеялся устроить издание своих воспоминаний в виде книги. Хотя мне во многом были чужды и общий подход Н. В. к литературе и его отношение к символистам и особенно к Александру Блоку, я согласился и из уважения к памяти покойного как человека и публициста, и потому, что считал его рассказ о встречах и разговорах с Андреем Белым и с Эллисом (Блока он как раз лично не знал и писал о нем отвлеченно) и очень интересным и чрезвычайно ценным для более полного понимания и самого Белого и того, что В. Ф. Ходасевич назвал « воздухом символизма ». Как писал сам

Вольский, его отношения с московскими символистами « сложились и развернулись в особой плоскости » и поэтому он о символистах мог сказать « неведомое другим, даже близко их знавшим ».

В своей книге Вольский касается и вопроса об отношениях между Белым и Анной Алексеевной (« Асей ») Тургенева, которую Белый иногда называл своей женой, а иногда — только « спутницей жизни ». Рассказывая о своем знакомстве с отцом Аси, А. Н. Тургеновым, Вольский пишет:

А. Н. Тургенов был женат на С. Н. Бакуниной, дочери Н. А. Бакунина, дяди «Прямухинских» Бакуниных, в том числе и знаменитого анархиста, но в то время он с нею уже разошелся. От этого брака Тургенов имел трех дочерей: Наталью, Анну (в воспоминаниях Белого и других она всегда именуется « Асей ») и Татьяну. Старших дочерей я видел один раз, будучи у А. Н. Тургенева. В памяти, но как во сне, осталось впечатление о двух очаровательных девочках. Одна из них была застенчивой и казалась немного букой: это была « Ася ». С нею в том же году, у ее тети, знаменитой певицы М. А. д'Альгейм (более широко известной под фамилией Олениной - д'Альгейм - Г. С.) познакомился и А. Белый. Ему понравились « миндалевидные глаза Аси, в улыбке которой слилась Джоконда с младенцем ». Близкое знакомство Белого с Асей произошло много позднее — в 1909 году. В 1910 году оно перешло в дружбу, в симпатию, в которой « ничего не было ни от страсти, ни от пылкой влюбленности ». Вместе с Асей Белый, оставляя Москву, отправился в Италию, Сицилию, Тунис, Египет, Палестину. Они решили « соединить свои руки », но « не решали вопроса о том, кем будем: товарищами, мужем и женою? » Возвратясь в 1911 году из первого путешествия, Белый и « Ася » с 1912 года снова уехали за границу, на этот раз надолго, посетили Брюссель,

Лондон, Париж, Норвегию, Германию, чтобы осесть в Швейцарии, в Дорнахе, где Белый, захваченный антропософской мистикой, сделался адептом Рудольфа Штейнера. В 1916 году А. Белый, в связи с призывом на военную службу, вернулся в Россию, и, в сущности, это и конец его отношениям с А. А. Тургенева. Весьма напыщенно, косноязычно, таинственно и со свойственным ему эгоцентризмом он в следующих словах обрисовывает суть и смысл их шестилетней совместной жизни. Ася, писал он в « Между двух революций », стала « живой восприемницей всех недоумений моих; разговор наш о правде жизни, связанный с решением так или иначе действовать, не мог состояться в условиях московской и даже российской жизни (?); надо было объекты мук моих удалить, чтобы с птичьего полета увидеть себя и других в годах, которым сознание говорило: нет! Разговор этот длился несколько лет; когда он окреп для каждого из нас в решение, то смысл нашего пути стал исчерпываться: я был по-новому притянут к России; путь первой спутницы жизни моей определился на Западе; и мы разошлись с одинаковым признанием значения и ценности нашей встречи, каждого из нас выручившей ».

В этой цитате следует подчеркнуть наименование Аси — А. А. Тургенева — не женою, а « спутницей жизни моей ». Различие очень важное. А. А. Тургенева, вопреки всему, что на этот счет писали и думали, женою А. Белого в том смысле, какой обычно вкладывается в это слово, никогда не была*. Из ее письма, полученного мною в ответ на мои вопросы, выяснилось, что в « Пу-

* Женой Белого называл А. А. Тургенову в своей книге о нем К. В. Мочульский. Проф. О. А. Маслеников в своей американской работе о раннем Белом (*The Frenzied Poets: Andrey Biely and the Russian Symbolists*. University of California Press, 1952) прямо говорит, что в 1910 г. Ася Тургенева « стала женой поэта » (стр. 143). — Г. С.

тевых заметках», описывающих их первое путешествие и составленных под ее «контролем», слово «жена» отсутствовало, но в сопровождении других неверностей появилось в этих «Заметках» при их напечатании в 1921 году, вызвав резкий протест А. А. Тургеневой и заставив Белого словом «жена» уже больше не пользоваться. Все это может показаться мелочью, не заслуживающей внимания, на самом же деле — важно для полного понимания и ясного представления о том странном существе, каким был Белый (стр. 14-15).

В своей книге, писавшейся и частями печатавшейся еще при жизни А. А. Тургеневой (она скончалась в 1966 г., через два года после Н. В. Вольского), Вольский ограничился этой ссылкой на свою переписку с А. А. Тургеневой, не приводя ее письма и даже не цитируя его. Уже после выхода книги под моей редакцией, вдова Н. В., Валентина Николаевна Вольская, прислала мне и письмо Н. В. к А. А. Тургеневой и ответ последней, найдя их в бумагах мужа. Мне эти два письма представляются имеющими достаточный документальный интерес для того, чтобы предать их теперь огласке — с некоторым пояснительным комментарием.

*Письмо Н. В. Вольского А. А. Тургеневой***

Многоуважаемая Анна Алексеевна,

Так как без объяснений имя мое абсолютно ничего Вам не скажет, позвольте эти объяснения дать. Моя настоящая фамилия — Вольский, но до моей эмиграции (в 1930 г.) в течение почти 25 лет я писал под псевдонимом Н. Валентинов. Я очень хорошо знал Вашего отца, с которым познакомился в 1905 г. Он относился ко мне с большой дружбой и летом (а может быть в августе) настоял, чтобы я поехал с ним в его имение в Твер-

** На оставшейся в бумагах Н. В. копии его письма нет даты, но на обороте второго листа его рукой поставлена дата: 2 февраля 1955 г. — Г. С.

ской губернии. Я прожил там у А. Н. Тургенева четыре дня. Ездили мы с ним в имение Бакуниных, к Вашей бабушке. Моя память, несмотря на старость, до сих пор в основном превосходная, но эту поездку в имение Бакуниных я плохо помню: воспоминание о ней каким-то странным образом заслонило воспоминание о поездке в имение Чи-черина в Тамбовской губернии.

Я превосходно знал и Андрея Белого, с ним постоянно виделся в 1907-1908 гг. В своих мемуарах «Между двух революций» изд[анных] в 1934 г., он упоминает мое имя (Валентинов) на стр. 256-257, называя меня «увлекательным собеседником», «будоражившим [в нем] вопросы марксизма», человеком, с которым его «связывали теоретические интересы». О наших постоянных встречах и разговорах Белый мог бы рассказать многое, но в то время, когда он писал свою книгу, я был уже эмигрантом, и Белый, боясь опасных для него упреков в былой связи с «меньшевиком Валентиновым», сказал о наших с ним отношениях очень мало. Все-таки нужно отметить, что я в этой книге один из немногих, на которых Белый не напал с резкими словами. После этого необходимого предисловия, я позволю себе перейти к мотивам и вопросам, вызвавшим это обращение к Вам.

Одно американское издательство предложило мне написать воспоминания о встречах с московскими символистами, а среди них я хорошо знал Белого, Брюсова и Эллиса (Кобылинского). Я согласился и за эти мемуары взялся, но я хочу, чтобы в них все было точно, а этого сделать без Вашей помощи я не могу. Вы теперь единственный в мире человек, могущий дать ответ на ряд вопросов, которые, несмотря на всякие мои попытки их решить — я выяснить не могу. Вот почему я и обращаюсь к Вам с большой просьбой и с большой надеждой, что на мое письмо Вы дадите

ответ. Позвольте же формулировать мои вопросы:

1) Когда скончался Ваш отец? Я этого не помню.

2) Не помню точно, где находилось его имение в Тверской губ. Помню только, что оно было в упадке и Ваш отец мне говорил, что им заниматься он не хочет, у него для этого нет «психологии и вкусов помещика».

3) Белый пишет, что А. Н. Тургенев был племянником писателя. Какого писателя? Ведь не Ив. Серг. Тургенева, а вероятно декабриста Тургенева? В то время, когда я виделся с Вашим отцом, я этим вопросом совсем не интересовался, а вот теперь этот вопрос встал и я на него ответить не могу.

4) Ваша мама была дочерью Бакунина, и здесь опять неясность. Какого Бакунина? Какое отношение он имел к знаменитому в истории революционного движения анархисту Михаилу Бакунину?

5) Мы ездили с Вашим отцом в имение Бакуниных, и я помню, что там меня представили высокой седоватой даме — вероятно Вашей бабушке. Называлось ли имение Бакуниных Прямухино? И на каком расстоянии оно было от имения Вашего отца?

6) Белый пишет, что Ваш отец в 1905 г. будто бы готовил у себя на квартире бомбы и Ваша сестра Таня и нянюшка Ариша мимо шпионов их выносили в фартуке. Вы лучше меня знаете, как постоянно А. Белый все преувеличивал. Я считаю его рассказ невероятным. А. И. Тургенев был настроен очень революционно, но в разговорах, и откровенных, со мною он никогда даже намека не делал на то, что имеет какое-то отношение к бомбам. Этим занималась боевая организация партии социалистов - революционеров, а ни к ней, ни к этой партии вообще А. Н. Тургенев не принадлежал. Он был народником, но это еще не значит

быть социалистом-революционером. Кроме того, невозможно предположить, что Ваш папа занимался приготовлением бомб в квартире, где жили его дети, а Вашу старшую сестру и Вас он особенно любил — он мне о том говорил. Я никак не могу вспомнить, на какой улице А. Н. Тургенев жил в 1905 г. Помню только, что, когда однажды пришел к нему, он познакомил меня с двумя девочками. Одна из них была посмелее, другая смотрела буквой. Вероятно, это были Вы и Ваша сестра, но воспоминание об этой встрече у меня крайне смутное — точно это был сон.

7) Вспомнить, где в Москве жил Ваш отец в 1905 г. (Вы, очевидно, жили тогда вместе с ним), мне важно и потому, что тогда в той же квартире имел место мой первый и большой разговор с А. Белым. От Вашего отца я тогда узнал, что А. Белый, которого до этого я дважды видел на митингах, есть Б. Н. Бугаев, сын известного профессора математики.

8) Никак не могу понять, каким образом — а об этом пишет А. Белый — француз д'Альгейм мог быть Вашим дядей, а Оленина-д'Альгейм — Вашей тетей. Ведь это предполагает родство того или той или с Вашей матерью или с Вашим отцом, а об этой стороне вопроса я ни от кого не мог получить объяснений.

Я думаю, что на предыдущие вопросы, если на то будет желание, Вы сможете без малейшего затруднения дать ответы и таким образом заранее уничтожите неясности и, главное, неточности, которые без Вашей помощи я в своих воспоминаниях невольно могу сделать. Сложнее обстоит с двумя нижеследующими вопросами:

9) О том, что Ваш жизненный путь стал как будто расходиться с путем А. Белого еще в 1911 г., т. е. после Вашего возвращения из путешествия (в Италию, Сицилию и т. д.) — на это сам Белый указывает. В томе 26-27 «Литературного Наслед-

ства», где напечатаны его воспоминания о времени после возвращения из путешествия, он писал, что тем, что Вы уехали из Бобровки, «еще раз доказывалось, что нам с ней нечего делать». Но потом трения между вами, видимо, прекратились и Вы вместе с ним уехали снова за границу. В Дорнахе Белый впал в патологическое состояние. В «Записках чудака», написанных в 1921 г., он сам это признает, сам на это указывает и свое совершенно ненормальное душевное состояние описывает очень подробно. Не тогда ли и не по этой ли причине Вы решили с ним разойтись уже окончательно?

Вы вправе сказать, что это вопрос слишком интимного характера и говорить о нем Вы ни с кем не желаете. Вы будете правы, но мне хотелось бы вот на что обратить Ваше внимание. Хотите того или нет, Вы, если можно так выразиться, уже вошли в историю. О Вас и Ваших отношениях с Белым уже писали, пишут и будут писать. Этого устранить или запретить нельзя, и весь вопрос теперь сводится к тому, чтобы об отношениях Ваших с А. Белым была бы написана не ложь, не малообоснованные догадки, не всякие выдумки или предположения того или иного биографа Белого, а только правда. Правду же поведать можете только Вы.

10) Десятый вопрос, который я сейчас ставлю, относится к категории еще более интимных. Я бы никогда его не посмел ставить, если бы он уже не был поставлен в печати опять таки самим А. Белым в беседах и с Цветаевой (напоминаю Вам ее статью «Пленный дух») и с некоторыми другими лицами. Белый писал, что, когда Вы уезжали с ним за границу, «мы не решили вопроса о том, кем будем мы: товарищами, мужем и женою». Все, что я знаю на этот счет, все, что об этом говорили разные лица, позволяет мне утверждать, что Вы были «товарищем» А. Белого,

сходились с ним в ряде увлекавших Вас обеих больших идей, были поэтому одно время спутницей его жизни, но отнюдь не «женой» в том смысле, какой этому понятию обычно придают. Поэтому, зная, какой смысл всегда придают слову «жена», Белый не имел никакого права называть Вас «женою», а между тем он это делал (например, в «Путевых Заметках») и вызвал у Вас резкий ответ, по поводу которого в беседе с Цветаевой он разразился по Вашему адресу злыми, очень нехорошими словами и еще более нехорошими намеками, меня, скажу откровенно, крайне возмущившими. Возмущившими тем более, что всему тому, что говорил Белый, совершенно противоречит то представление о Вас, тот образ, который я о Вас себе составил.

Но нужно письмо мне кончить и, если Вы, многоуважаемая Анна Алексеевна, на мои вопросы пожелаете ответить — буду Вам много обязан. То, что я пишу и напишу об А. Белом, никто и никогда не писал. Полоса сношений со мною А. Белого никому неизвестна и не будет известна, если я умру, а этого нужно ожидать, так как я старик — вероятно, лет на 15 старше Вас.

Ну вот, написал, кажется, все, что хотел написать. Мне остается теперь Вам пожелать здоровья, здоровья и здоровья. Остальное приложится.

Вас многоуважающий

Н. Вольский

ПРИМЕЧАНИЯ

Алексей Николаевич Тургенев был сыном двоюродного брата И. С. Тургенева, Николая Петровича. В одном своем письме к Ж. А. Полонской за 1882 г. И. С. упоминает, что этот сын Н. П., тогда студент, был у него в Спасском. Его брат, тоже студент, летом 1882 г. погиб в железнодорожной катастрофе около станции Бастыево, в нескольких верстах от имения И. С. Тургенева. На последнего эта гибель произвела большое впечатление, и в нескольких письмах

из Буживаля (к Ж. А. Полонской, к М. Г. Савиной, к Н. А. Щепкину) он писал об этом несчастье (см. т. X111 [1] «Писем» И. С. Тургенева в «Полном собрании сочинений и писем», изд-во «Наука», Ленинград, 1968).

О своем первом путешествии за границу с А. А. Тургеневой Белый рассказал впервые в «Путевых заметках». Некоторые очерки из них печатались еще в 1911 г. в газетах (один в «Утре России» и целый ряд в «Речи»). В виде книги «Путевые заметки» вышли почти одновременно (в 1921–22 г.) в двух разных изданиях: в Москве под названием «Офейра», с подзаголовком «Путевые заметки. Часть первая» и в Берлине (в изд-ве «Геликон») под названием «Путевые заметки», с подзаголовком: «Том I. Сицилия и Тунис». Московское издание было напечатано по новой орфографии, и в нем было 198 страниц. В берлинском, по старой орфографии, их было 310. По сравнению с московским берлинское издание было дополнено двумя отрывками в 4-ой и 5-ой главах, общей сложностью около 20 страниц. Но московскому изданию были предпосланы, под заглавием «Вместо предисловия», помеченные 1919 г. полторы страницы из вышедших одновременно (1922) «Записок чудака», в которых Белый тоже писал о своем путешествии с Асей, но вывел ее под именем Нелли, а себя — как Леонида Ледяного. Касаясь отношений между Белым и А. А. Тургеневой, покойный К. В. Мочульский в книге о Белом писал, что в «Записках чудака» он показал «противоположность их натур». О книге в целом Мочульский говорил, что в ней «столько сумбура, бреда, крика и безумия, столько раздражающей претенциозности и мучительных вывертов, что разобратсья в них нелегко». По словам Мочульского, это была «фантастика безумия», но безумия, исполненного «поэтического вдохновения» (см. К. Мочульский. Андрей Белый. Париж, УМСА-Press, 1955, стр. 187–88, 191).

Позднее Белый, «переосмысляя» многое из ранее написанного им о собственной жизни, задумал писать многотомную автобиографию. Начало ей должно было быть положено «трилогией», первые два тома которой вышли при его жизни: «На рубеже двух столетий» (1930) и «Начало века» (1933). Рассказ в них доходил до 1905 г. Третий том — «Между двух революций» — должен был состоять из двух частей, но Белый успел закончить только первую часть, которая вышла уже после его смерти. Здесь он доводил рассказ до 1910 года и здесь давал первый поэтический портрет Аси, после встречи с ней у д'Альгеймов:

Вид девочки, обвисяющей пепельными кудрями: было же ей 18 лет; глаза умели заглядывать в душу; морщинка взрезала ей спрятанный в волосах большой мужской лоб: делалось тогда неповадно; и вдруг улыбнется, бывало, дымнув папирсой: улыбка ребенка.

К. В. Мочульский считает, что Ася получила «поэтическое отражение» в Кате, героине «Серебряного голубя».

Заграничное путешествие с Асей должно было войти во вторую часть третьего тома автобиографии, из которой были написаны только введение и две главы. Они были напечатаны посмертно в 1937 г. в т. 27–28 «Литературного Наследства» («Из литературного наследства Андрея Белого. Воспоминания, т. III, часть II», стр. 409–456). Публикация была подготовлена женой Белого, К. Н. Бугаевой, ур. Васильевой (он женился на ней после возвращения из Берлина в 1923 г.), а предисловие написано Б. Кузьминым. В том же томе был напечатан составленный К. Бугаевой и А. Петровским обзор литературного наследства Белого, в котором подробно рассказана история писания и печатания «Путевых заметок» (стр. 610–612) и упоминается о том, что сохранился и второй том их, в гранках «Геликона».

Во «Введении» к первым главам второй части Белый много говорит об Асе. Под ее влиянием, утверждает он, он отвернулся от Европы, от ее буржуазной культуры: «... я как бы закрываю глаза свои арабской феской, сев спиной к Европе на пестренький кайруанский ковер, отделяющий меня от суровой действительности; позднейшая жизнь в Германии и Швейцарии меня исцеляет от слепоты; и я начинаю видеть неизбежность социального кризиса». Задним числом, в порядке «переосмысления», Белый относит к этому позднему периоду свой «сдвиг к позиции Циммервальда», что плохо вяжется с тем, чем был мотивирован в 1916 г. его отъезд из Швейцарии. Все восьмилетие 1910–1918 Белый обобщает как «окрашенное» вкусами Аси: «ее ненавистью к мещанству и нежеланием видеть действительность, которую она окрашивает в пестрые морюки субъективнейших парадоксов [...] Ася переживала ярко средневековье и талантливо открывала глаза мне на готику, отворачиваясь от всяческого барокко; ей был чужд ренессанс, до которого я с усилием доработался уже без нее».

Первая глава второй части третьего тома, по словам Б. Кузьмина, отчасти «пересказывает» второй (неопубликованный) том «Путевых заметок». Но отчасти она его и дополняет. Ася в этом рассказе занимает сравнительно мало места. Но обращает на себя внимание такой, например, абзац:

Как сейчас стоит в памяти изразцовая комнатка, устланная шелками тахта, кайруанский коврик, курильница, из которой струил свои сны темносиний кальянный прибор; я в зеленом халате и феске-чечье, развивал перед Асей свою философию. В эти дни нас связала друг с другом лишь Африка; отнимись она, — мы с испугом вперились бы пустыми глазами друг в друга; с испугом мелькнула бы мысль: почему это вместе мы?

Рассказ о путешествии заканчивается небольшим очерком о Иерусалиме, в котором на Белого «мрачное» впечатление произвела пасхальная неделя, и коротким описанием возвращения в Одессу.

Во второй главе говорится о пребывании в Боголюбях, у отчима Аси, о поездке в Москву без нее (подглавка об этом носит характерное название «Московский Египет»); большую роль в ней играют ссоры и споры со старыми друзьями — с Э. К. Метнером и его «Мусagetом» и др.). Из Москвы Белый снова бежал в Боголюбы. То, что происходило с ним тогда, он характеризовал так:

...меня давил быт, впервые увиденный во всех мелочах; до сей поры я над ужасом быта скользил; материальная стиснутость, зависимость от каких-нибудь нескольких сотен рублей, теперь впервые раскрыла мне безвыходность моего положения: не иметь возможности обеспечить Асю элементарными жизненными удобствами и видеть всю ее беспомощность в тех условиях, которые мог я ей предоставить; будь у нее пламенная любовь ко мне и решимость бороться за нашу жизнь, все это пережилось бы иначе; но теперь вижу, что у нее не было никаких стимулов отстаивать нашу жизнь: она пассивно как бы ждала, что все сложится само собой; менее всего сознавала она, что для этого нужен и с ее стороны какой-то творческий импульс; я со всей трезвостью видел ее несознательность в этом смысле; эта трезвость была для меня раздавливающим меня молотом...

Позволительно, конечно, усомниться, чтобы Андрей Белый мог что-либо видеть «со всей трезвостью». Вместе с тем Белый подчеркивает дальше раздвоение своей личности и отмирание одного из своих «я»:

...до того рокового лета жил, был, мыслил некто, которого называли Борис Николаевич Бугаев, одевшийся в некий призрачный кокон, называемый Андреем Белым; но вдруг этот Белый вспыхнул в процессе самовозгорания, суть которого была непонятна ему; от Белого ничего не осталось; Борис же Бугаев оказался погруженным в каталепсию, подобную смерти; он умер; и ел, спал, двигался наподобие мумии; в себе самом слышал он отдаленные отзвуки некой жизни, к которой возможен пробуд; но — как пробудиться? Во всяком случае не Ася пробуждала; она сама была как во сне; жила мумией. (Подчеркнуто мною. — Г. С.).

Дальше есть еще одно интересное упоминание Аси — в связи с писанием «Путевых заметок» (но без всякого намека на то, что

она «контролировала» их писание — см. об этом ниже в ее письме к Н. В. Вольскому). Рассказывая уже под самый конец жизни об этом времени, Белый писал:

К августу я вплотную вошел в «Путевые заметки»; утра, вечера я согбенно сидел над столом, обалдевший, не выходя на прогулки и имея объектом все ту же оцепеневшую Асю, лежавшую передо мной на диване и покрывавшую себя клубом дыма; и как бывает: когда в думах, забывшись, вперяешься в то же стенное пятно, изучая его машинально, выступают в нем образы, ассоциируемые с работой; и так образ Аси передо мною разрастался, примышляясь невольно к работе; мы встретились в годы, когда моя жизнь мне казалась разбитой; я думал о смерти; и вот глядя на Асю — подумалось: лучшее, что могу, это — блюсти ее жизнь, служить ей поддержкой; и дружба росла оттого, что Ася могла на меня опираться; отсюда и бегство с ней; я утешался иллюзией: в умении стать ей опорой я обретал смысл всей жизни; он рос до ощущения почти роковой приговоренности; и приходилось жить чувством рока; других надежд не было; читал ее облик я несколько лет; и различно прочитывал, умаляя и — переоценивая.

Этот рассказ о «примышляемом» образе Аси задним числом как бы оправдывает те изменения, которые, по словам А. А. Тургеневой, Белый внес в первоначальный текст «Путевых заметок».

В заключительной части второй главы, напечатанной в «Литературном Наследстве», Белый рисовал еще один «портрет» Аси (речь шла уже о жизни осенью 1911 года в Расторгуеве, когда Белый задумывал свой «Петербург»):

...было уютно в вечерних туманах катиться домой, видеть издали огонек и знать, что тебя ждет ужин, Ася и тихие разговоры, в которых я изливал свои московские, надо сказать невеселые, впечатления; Ася с сонной ленцой отказывалась бывать в городе; в Расторгуеве на нее нашел стих ходить в моих коротких тунисских штанах и выглядеть настоящим мальчишкой, с тою однако разницей, что лицом на мальчишку ни капли не походила она; стиснутые брови и пристальный взгляд, зперяемый сквозь меня куда-то в неизмеримые дали, подсказывали мне, что в ней углубляется тот же, мною не раз подмечаемый, транс, заставлявший меня вздрагивать и ожидать печальных и роковых событий, которые она словно выколдовывала из хаоса жизни; менее всего она жила «нашей» жизнью; вот уж ни капли не

силилась создать ее; и предоставляла мне свободу думать о ней что угодно; но я и в эти дни менее всего думал о ней; ко мне подкрадывалась тема романа, который предстояло мне, так сказать, осадить из воздуха.

Подчеркнутые в этой цитате фразы подчеркнуты мною. Они многозначительны. Но не надо забывать, что писалось это, по всей вероятности, на расстоянии более чем двадцати лет после описываемого и почти двадцати лет после разрыва между Белым и Асей.

Наиболее резкие жалобы на Асю Белый позволил себе в разговорах с Мариной Цветаевой в Берлине в 1922 г. (см. ее очерк «Пленный дух», напечатанный в кн. LV парижских «Современных Записок» и перепечатанный посмертно в сборнике «Проза», Нью Йорк, 1953). Жалуясь Цветаевой на Асю, Белый касался и ее берлинского «романа» с поэтом-имажинистом Александром Кусиковым, другом Есенина (Цветаева Кусикова не называет, но совершенно ясно, о ком идет речь). В поведении Аси Белый усматривал месть себе: «О, вы знаете, как она зла! Вы думаете — о ней нужен, дикарь ей нужен, ей, которой (отлет головы)... тысячелетия... Ей нужно (шопотом) ранить меня в самое сердце, ей нужно было убить прошлое, убить себя — ту, сделать, чтобы той — никогда не было. Это — месть. Месть, которую оценил я один... [...] вы ее не знаете: она холодна, как нож. Все это — голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит. О, вы не знаете, как она умеет молчать, вот так: сесть — и молчать, стать — и молчать, глядеть — и молчать».

Свидания между Белым и Асей в Берлине происходили в разных кафе. При одном из них, как пишет Мочульский, «произошло объяснение». Белый так о нем рассказал на последних страницах «Записок чудака»:

Нэлли я видел недавно; она изменилась: худая и бледная. Мы посиживали с ней в кафе; раза два говорили о прошлом, но мало: ей нет уже времени разговаривать о пустяках. «Прощай» — В Дорнах? — «В Дорнах». И мы распрощались; для утешения и духовного назидания меня подарила она мне два цикла, прочитанных Штейнером; циклы — со мной. Нэлли — в Дорнахе. Все? — Да... Все.

Но, как видно будет из дальнейшего, либо это свидание не было последним, либо оно происходило не в Берлине, как думал Мочульский, который цитирует это место из «Записок чудака» на стр. 234 своей книги. В этом месте «Записок» Белый не называет Берлина, он говорит «в этом городе», но первое предположение, как увидим, всетаки более вероятно, поскольку короткое «Послесловие» к «Запискам чудака» датировано «Берлин. Сентябрь 1922 г.»;

последнее же свидание между Белым и Асей имело место в 1923 г., что, видимо, осталось неизвестно писавшим о последних годах его жизни.

Отношения с Асей в этот последний период нашли себе отражение и в последнем стихотворном сборнике Белого — «После разлуки». Мочульский правильно говорит, что по содержанию стихи этого сборника — «крик боли и отчаяния». «Ася (пишет Мочульский) его покинула, Ася ушла навсегда: она — холодная, язвительная, злая...» И Мочульский цитирует начало стихотворения «Больница»:

Мне видишься опять
Язвительная — ты...
Но — не язвительна, а холодна: забыла.
.
Я, удушьяемый, в далекую тебя
Вливаюсь пристально. Ты — смотришь с неприветом.

Именно такими словами говорил об Асе Белый с Цветаевой, названием книги стихов которой («Разлука») было навеяно название его собственного сборника.

II

Повидимому, А. А. Тургенева довольно быстро отозвалась на письмо Н. В. Вольского. Письмо ее, без даты, было написано по старой орфографии и даже с твердыми знаками. Не считая одного особо оговоренного случая, мы печатаем его с соблюдением всех графических особенностей — не только орфографии и пунктуации, но и сокращений, и ошибок и описок в правописании, включая даже такую как латинское г в слове «Карского». Эти ошибки и описки показывают, до какой степени А. А. Тургенева отвыкла к этому времени писать по-русски.

Письмо А. А. Тургеневой Н. В. Вольскому*

*Многоуважаемый Господинъ Вольскій
Постараюсь по возможности отвѣтить на Ваши вопросы.*

* Нумерованные примечания к этому письму принадлежат автору публикации.

1) Отец скончался отъ сердечнаго удара по дорогѣ на Кавказъ 30 мая ст. ст. 1906.

2) Въ 1904-05 годахъ онъ забросивъ имѣнье «Пыжево» Тульск. губ. Чернск. уѣзда, — (не родовое — купленное имъ) жилъ то въ Москвѣ, то въ Харьковѣ.

5) Рядомъ (3-4 версты) «Ивановское» имѣнье Арсеньевой жены дяди Мих. Ник. Бакунина. Тамъ жила бабушка Антонина Никол. (дочь Муравьева Катскаго (Ник. Ник.) и Нат. Григ. Чернышевой). Мужъ бабушки Ник. Александр. (?) камергеръ — сынъ Тверск. губерн. (дядя Прямухинскихъ Бакуниныхъ — Мих. Бак. анархиста) товарищъ Пушкина по лицу. Его сестрѣ Пушкинъ лицействъ писалъ стихи¹. Кажется она, Катерине Б. была (за Полтарацкимъ?) бабушкой

8) дяди Петра Алекс. д'Альгейма. Съ другой стороны Мар. Алекс. Оленина кузина матери Софьи Никол. (по прадеду Бакунину). Итакъ дядя Пьеръ (изъ старыхъ француз. эмигрантовъ) въ родствѣ черезъ Б. и съ Олениными и съ нами. Наши семьи были всегда близки. Я у нихъ жила годами².

¹ Если А. А. Тургенева не ошибалась насчет своей материнской родословной, т.е. Бакуниных, ее дед был сыном Александра Павловича Бакунина (1797-1862) от первого брака (с Анной Борисовной Зеленской). А. П. Бакунин был лицеистом первого курса и таким образом товарищем Пушкина. Его сестра Екатерина была первой сильной любовью Пушкина, и он посвящал ей стихи. В нее были также влюблены два товарища Пушкина по лицу, И. И. Пущин и А. Д. Илличевский. С 1843 по 1857 г. А. П. Бакунин был действительно тверским губернатором. Его единственный сын Николай (у него была еще дочь от первого брака и дочь от второго) родился в 1828 г. и служил в Семеновском полку (год его смерти установить не удалось). Родным дядей прямухинским Бакуниным, т.е. Михаилу Бакунину и его пятерым младшим братьям и пятерым сестрам, он приходится, однако, не мог. Если верить указателю к «Личным архивным фондам в государственных хранилищах СССР» (т. I), он был их дальним родственником. Подробно об А. П. Бакунине и его семье см. в известном трехтомном труде Н. Гастфрейнда «Товарищи Пушкина по Императорскому Царскосельскому Лицею» (СПб., 1912-1913). К чему относится слово «рядом» в самом начале пункта (5), неясно. Рядом с Прямухиным?

² Д'Альгеймы, Петр Иванович — а не Алексеевич — («дядя Пьер») и Мария Алексеевна (ур. Оленина), фигурируют очень часто

6) И такъ отца вы могли встрѣчать у насъ. Мать съ кот. они разводились жила временами съ сестрой и мной (около Страстного монастыря или на Кудринской Садовой) или у д'Альгеймовъ въ Лоскутной гостиницѣ, или у Анны (Стейнбокъ-Ферморъ тоже общей родственницей[ы]) женой [жены] Тарасевича. Гдѣ Вы встрѣтились съ Бѣлымъ — не знаю. Отецъ жила за Москвой-рѣкой (Сергѣевск. подворье?) (или у Цурикова, друга отца. Встрѣча съ отцомъ).

6) Бомбъ отецъ не дѣлалъ но пряталъ у себя какихъ-то «анархистовъ» (?) (въ Харьковѣ). До прихода полиціи ихъ удалось скрыть — а бомбы таскали няня Аришенька и Таня въ садъ. Андр. Б. описываетъ это вѣрно. Но Отца онъ кажется

в мемуарах Андрея Белого. П. И. д'Альгейм был организатором «Дома Песни» в Москве, а его жена известной камерной певицей, с успехом подвизавшейся не только в России, но и за границей (Белый упоминает о ее концерте перед английским королевским двором). Белый называл ее «единственной, неповторимой исполнительницей песенных циклов» и говорил, что такую, какой она была в 1902-1908 годах, он предпочитал ее «всем Шаляпиным», прибавляя: «она брала не красотой голоса, а единственной, неповторимой экспрессией. Ничего подобного я не слышал потом». Брат М. А. д'Альгейм был талантливым композитором.

Полторацкие были тоже тверскими помещиками, хотя и происходили от соборного протоиерея из Черниговской губернии. За Александра Александровича Полторацкого (1792-1855) вышла замуж Екатерина Павловна Бакунина, в которую был влюблен Пушкин. А его тетка, Елизавета Марковна (1768-1838), вышла замуж за знаменитого А. Н. Оленина (1763-1843), директора Академии Художеств в начале XIX века. Таким образом, семьи Бакуниных, Олениных и Полторацких были, действительно, связаны между собой. Но, говоря, что дядя Пьер д'Альгейм был через Бакуниных в родстве и с Олениными и с Тургеневыми, А. А. Тургенева могла и ошибаться: никаких указаний на это в кратких биографиях П. И. д'Альгейма я не нашел. И «Энциклопедический Словарь» Брокгауза и Ефрона, и «Новый Энциклопедический Словарь» (изд. Гранат), и «Большая Советская Энциклопедия» называют его «французским писателем» (он был, между прочим, автором французской книги о Мусоргском, вышедшей еще в конце века; позже, в 1910 г., книгу «Заветы Мусоргского» — тоже по-французски — написала и М. А. Оленина д'Альгейм). На время его появления в России нет никаких указаний. Не говорится ничего и о его русской родне. Правда, был еще русский баронский род Дальгеймов (без апострофа), происхождением из Эльзаса. Его русский родоначальник, Жан-Батист Дальгейм выехал в Россию, где он стал называться Иваном Ивановичем, в 1792 г. и дослужился до генерал-майорского чина. Но на связь П. И. д'Альгейма с этим родом я не нашел никаких указаний.

слышалъ разъ на собр. Сельско-Хоз. общества — (1905?) не будучи знакомъ.

3) Ив. Серг. Т[ургеневъ] двоюродный братъ и не слишкомъ удачный опекунъ дѣда и его брата Миши (разск. Тург. «Отчаянный»), умершихъ рано³. Дружилъ съ отцомъ.

На послѣдніе вопросы нужна бы автобиографія — но въ этомъ нужды не вижу.

Андр. Бѣлый въ послѣднихъ книгахъ наши отношенія описываетъ субъективно (въ деталяхъ не всегда вѣрно^(о)) и безвкусно — но в общихъ чертахъ правильно. Андр. Бѣл. былъ въ 1916 призванъ на воен. службу — это можно было разсматривать какъ судьбу. Послѣдніе годы было ясно что онъ не способенъ жить внѣ Россіи и литературн. среды, кот. меня не интересовала. Мнѣ было жизненно единственно важнымъ оставаться въ работѣ въ Дорнахъ связь — духовная съ кот. у него не порывалась до смерти. — Доказатель-

³ Говоря, что И. С. Тургенев был опекуном «деда и его брата Миши», А. А. Тургенева ошибалась: ее дед по отцу, Николай Петрович, и Михаил Алексеевич Тургенев, послуживший прототипом героя рассказа «Отчаянный» (1881), Миши Полтева, были не братьями, а двоюродными братьями. Оба были и двоюродными братьями писателя, хотя и в воспоминаниях современников, и даже в письмах самого И. С. Тургенева они иногда называются его племянниками (они были на 10-11 лет моложе его). В письме П. В. Анненкову от 30 сентября (12 октября) 1860 г. И. С. Тургенев писал про «Мишу»: «Этот сумасшедший брандахлыст, прозванный у нас в губернии Шамилем, прожил в одно мгновение очень порядочное имение, был монахом, цыганом, армейским офицером, — а теперь, кажется, посвятил себя ремеслу пьяницы и попрошайки» («Письма», т. IV, стр. 137). Говоря о ранней смерти Н. П. и М. А. Тургеневых, А. А. тоже ошибалась. Н. П. прожил очень долгую жизнь: родившись в 1830 г., он умер после 1917 г. М. А. родился в 1829 г.; год смерти его неизвестен, но известно, что в 1869 г. он был еще жив. Некоторые подробности о нем см. в «Полном собрании сочинений и писем» И. С. Тургенева, т. XIII «Сочинений», стр. 556-57, а также т. XIII [1] «Писем».

^(о) Напр. фальшиво описание матери при первомъ знакомствѣ у д'Альгеймовъ въ Лоскутной 1905 онъ ее глубоко любилъ и уважалъ.

Она разводилась 1905 съ отцомъ — и вышла за Кампиони⁸. Онъ женился на В. Рукавишниковой⁹. [Это примечание написано на обороте второго листа письма. В последней фразе мы исправили «Они разводились» и «вышли» на «Она разводилась» и «вышла». — Г. С.]

ства въ Зхъ послѣднихъ книгахъ — но жизненно онъ тамъ быть не могъ. Въ Путевыхъ замѣткахъ — подъ моимъ контролемъ онъ ничего обо мнѣ не писалъ (въ 1910 г.). Издавая ихъ уже въ Россіи (1920-22?) онъ всюду наставлялъ во многомъ невѣрные замѣтки обо мнѣ что меня тогда глубоко оскорбило, какъ желанье хотя бы въ литературѣ выставить меня женой. Мы дѣйствительно — чисто формально были граждански вѣнчаны въ Бернѣ 1914 что бы не смущать враждебное крестьянское население въ Швейцаріи. Ни брака вообще — ни тѣмъ болѣе церковнаго я не хотѣла. (Хоть «клятвы» и не давала). Послѣ «Путев. Замѣтокъ» я сочла нужнымъ показать ему жизненно что мы жизненно разошлись. — (Мариной Цвѣт. не интересовалась).

При нашей послѣдней встрѣчѣ въ Штутгартѣ Анд. Б. меня понялъ и примирился но конечно осталась горечь⁴. Ему трудно было не перено-

⁴ О встрече в Штутгарте, которая якобы «примирила» Белого с Асей, нет упоминания ни в книге К. В. Мочульского, ни в воспоминаниях М. Цветаевой, ни в других известных мне источниках, касающихся последних лет жизни Белого. Но, если не встреча с Асей, то поездка самого Белого в Штутгарт упоминается в одном из трех весьма интересных писем Белого, напечатанных В. Ф. Ходасевичем в 1937 г. в «Современных Записках» (кн. LV). Письмо это касается потерянных Белым стихотворений Державина, которые он взял у Ходасевича в связи с задуманной им вместе с известным переводчиком Вальтером Грегером антологией русской поэзии в немецких переводах. Письмо это не датировано, но получено было Ходасевичем 17 июня 1923 г. Послано оно было из Гарцбурга. В пояснительной заметке к письму Ходасевич говорит, что Белый, взяв стихи Державина, чтобы показать их Грегеру, затем уехал в Штутгарт и Гарцбург с К. Н. Васильевой, своей будущей женой. Сам Белый в письме пишет: «Понимаете, что произошло? Я старательно спрятал листки Державина в сундук, уезжая в Штутгарт; вернувшись, перерыл все листков не было...».

Остальное содержание письма, крайне характерного для Белого, нас здесь не интересует. Но оно подтверждает, что Белый — уже после разговоров с Цветаевой, но до своего замечательного письма последней в Прагу, в котором уже после того как он просил устроить ему пристанище и вспомоществование в Праге, он извещал ее о своем внезапном отъезде в Россию, — побывал в 1923 г. в Штутгарте. Было ли свидание с А. А. Тургеневой наперед условленным, приезжала ли она туда из Дорнаха, или же он поехал туда, узнав, что она задержалась там по пути в Дорнах, мы не знаем.

сильную глубокую связь кот. была между нами на жизненный путь. Но его путь былъ иной.

Изъ всего этого Вы увидѣте что чемъ меньше Вы обо мнѣ будете писать — мнѣ, тѣмъ пріятнѣй.

Можетъ быть подробности о нашей семьѣ Вы получили бы отъ тети Мар. Алекс.⁵

Mme d'Alheim
185, rue de Lourmel
PARIS XV

Ей 86 (?) лѣтъ,

ярая коммунистка — большевики: — христиане.
Но человекъ исключительный.

Эллисъ (католикъ) умеръ года 2-3 тому назадъ⁶.

В конце письма вскользь упоминается К. Н. Васильева — в связи с предложением Белого просить о спешной высылке стихов Державина из Москвы: К. Н., мол, «ручается за спешную высылку текста». Иными словами: если не в Штутгарте, то в Гарцбурге К. Н. Васильева была с ним. Она же в октябре того же года «увезла» его в Россию.

Из двух других писем Белого, напечатанных Ходасевичем, одно было получено им еще в России, а другое было адресовано не ему, а «другому лицу». Написано оно было после выезда Белого из России — в ноябре 1921 г. из Ковно, где Белый сидел, волнуясь, что ему могут не дать визы в Берлин, о которой он просил. Это письмо было напечатано Ходасевичем с большими сокращениями («приблизительно наполовину», писал он). Нет никакого сомнения, что оно было адресовано А. А. Тургеневой, хотя Ходасевич этого и не сказал. По его словам, письмо это не было послано адресату, и Белый отдал его ему в 1923 году вместе с некоторыми другими документами. Тогдашняя жена Ходасевича, Н. Н. Берберова, в своей недавно вышедшей по-английски автобиографии (*The Italics Are Mine*, New York, 1970) рассказывает это несколько иначе: по ее словам, Белый, уезжая в Москву, забыл это письмо в том пансионе в Берлине, где он жил, и г-жа Крампе (владелица пансиона?) передала его ей, Берберовой (см. стр. 396). Берберова подтверждает, что письмо было написано к Асе. Весьма вероятно, что многое из того, что было выброшено Ходасевичем из письма (в котором было 20 страниц большого формата), бросает свет на отношения между Белым и А. А. Тургеневой. Письмо, по всей вероятности, сохранилось в архиве В. Ф. Ходасевича. Между прочим, Берберова в своей книге, как и многие другие, называет А. А. Тургеневу «женой» Белого.

⁵ Из книги Н. В. Вольского не видно, чтобы он обращался за сведениями к М. А. д'Альгейм. Что касается возраста последней, то по некоторым источникам она родилась в 1869 г., что соответствует цифре, даваемой А. А. Тургеневой. Но по крайней мере две энциклопедии годом рождения дают 1871.

⁶ Говоря, что Эллисъ умер «года 2-3 тому назад», А. А. Тургенева опять ошибалась: он умер в Монти-Локарно (Швейцария) в 1947 г.

Кажется я на все отвѣтила.

Съ сердечнымъ привѣтомъ

А. Тургенева

Ник. Алекс. Цуриковъ⁷ въ Мюнхенѣ пишетъ
воспоминанія объ отцѣ.

Эллис, действительно, стал католиком. Из России он уехал еще до Революции, жил сначала в Германии, потом в Швейцарии, где написал по-немецки книгу о Пушкине как «русском религиозном гении», вышедшую уже после его смерти. О заграничном периоде его жизни пока известно очень мало (см. мое примечание о нем в книге Н. В. Вольского «Два года с символистами», стр. 238). То, что А. А. Тургенева ошиблась на несколько лет в дате смерти Эллиса, свидетельствует об отсутствии общения между ними, хотя они и жили в одной стране. Вероятно, как и Мариной Цветаевой, она Эллисом «не интересовалась». Это вяжется с ее общим отсутствием интереса к России и всему русскому в эти годы.

⁷ Николай Александрович Цуриков (1886-1957) — земляк орловских Тургеневых и хороший знакомый отца А. А. Тургеневой. В эмиграции, где он жил сначала в Праге, а после Второй мировой войны в Мюнхене, выдвинулся как публицист, сотрудничая в газетах П. Б. Струве («Возрождение», «Россия» и «Россия и Славянство»). Писал также очерки и воспоминания под псевдонимом «И. Беленихин». Были ли напечатаны его воспоминания об А. Н. Тургеневе, который по словам дочери последнего, был другом его отца, мне неизвестно. Настоящая статья была уже в наборе, когда я узнал от А. Н. Цурикова, что отец его переписывался с А. А. Тургеневой, с которой был на «ты». К сожалению, архив Н. А. Цурикова до сих пор не разобран, и А. Н. не мог поделиться со мной сведениями о письмах А. А. Тургеневой к его отцу. Судьба бумаг А. А. Тургеневой неизвестна. Они могли сохраниться в Дорнахе, но она могла их и уничтожить. Тетка Н. А. Цурикова, Варвара Александровна (р. 1851), была писательницей и переписывалась с И. С. Тургеневым под самый конец его жизни (см. о ней в тт. X и XIII [2] «Полного собрания сочинений и писем» — по указателю).

⁸ В. К. Кампиони, за которого вышла замуж мать Аси, служил лесничим на Вольни. К ним в Боголобы Белый и Ася приехали после возвращения из Иерусалима.

⁹ На какой Рукавишниковой женился А. Н. Тургенев, неясно. По словам Белого (в «Начале века») на Рукавишниковой, сестре поэта Ивана Рукавишникова, женился Сергей Казимирович Мюрат, кузен П. И. д'Альгейма, московский учитель французского языка, наружностью напоминавший (говорил Белый) наполеоновского Мюрата. У И. С. Рукавишникова могла быть, конечно, и другая сестра.

Октябрь 1970 г. Berkeley, California.

FOLKLORE IN EASTERN EUROPE

1. Naturally, no one single person can embrace folklore studies in their entirety. Divisions and subdivisions involving limitations are unavoidable. Some students of folklore are only interested in folk songs, but they do not limit their interest to any specific linguistic group, but rather try to understand folk song and folk melodies as a universal gift to mankind or to a specific region such as a continent. In trying to obtain an overall picture of a specific cultural or political area, they engage in *comparative folklore*. Unfortunately such attempts are frequently premature, started before a proper foundation for comparison has been laid.

2. On the other hand, premature for a *lack* of comparative interest are statements made by some American Slavists claiming that nature symbolism together with some other artistic devices found in modern Slavic (e.g., Russian and Serbo-Croatian) folk poetry point to a common Slavic origin, as if they were a unique Slavic invention. Such erroneous statements are caused by lack of familiarity with the subject matter in non-Slavic, West European literatures, such as Provençal, French, and German. In this respect a wide vista is opened up by Barbara von Wulffen's booklet on nature elements as introduction to 'Minnesang' and the early folk song, published in 1963¹. As

¹ Barbara von Wulffen, *Der Natureingang in Minnesang und frühem Volkslied*. München: Max Hueber (1963). See my review in *German Quarterly* XXXVII (1964), p. 161. Cf. also my article, «A Note on Slavic Literary Folklore», in *Annali dell'Istituto Universitario Orientale, Sezione Slava* V (Naples 1962), pp. 53-57.

early as 1888, O. Lüning (who 25 years later became my teacher of German literature in St. Gallen, Switzerland) wrote on nature in Old Germanic and Middle High German epic poetry. Soon afterwards there followed numerous — more realistic and critical — investigations which uncovered a state of successive dependence of German on Romance practice and of the latter on Roman and Greek tradition. The latest link in this chain of cultural channeling is formed by the Slavic world in the following way: Greek → Latin → Romance → German → Slavic. Nature symbolism as a poetic device came into Slavic folk poetry from the West as part of that occidentalization of Eastern Europe which is described in my lecture « Les Slaves et leur civilisation » published in 1962⁷.

3. Another stylistic device found also in the non-Slavic world (e.g., in Lithuanian, where it is borrowed from Russian) is the 'negative antithesis'. The Lithuanian poet and scholar Balys Sruoga (1896-1947), discussing it in a book published in 1927³, called it 'negative parallelism' and distinguished five types of it. If the Lithuanians could borrow this device from Russian, so could the Serbs. Still another poetic device occurring in Russian and Serbian folk poetry and claimed to be of Primitive Slavic origin is the application of the epithet 'falcon' to the young hero, the bridegroom, etc. This symbol is quite common in Middle High German, e.g., the *Nibelungenlied*, and even at the beginning of the 20th century, the Swiss author and cultural leader Karl Frey (1880-1942) changed his name to *Konrad Falke*, making thus a public manifestation of his devotion to the highest ideals and by this very act witnessing the symbolic function of the *falcon* in a non-Slavic culture⁴.

4. Such occidental elements reached the Slavs through medieval Bohemia, where a German-Bohemian form of courtly

² *Études Slaves et Est-Européennes* VI (Montréal 1962), pp. 177-187, especially 182-187.

³ *Dainų poetikos etūdai* ('Studies in the Poetics of the Lithuanian Folk Songs'). It is reprinted in the posthumous publication: *Balys Sruoga, Raštai*, Vol. VI (Vilnius 1957), pp. 103-328. The passage dealing with our problem is on pp. 218-222.

⁴ Cf. my article in *Annali* V, pp. 55-56, mentioned in footnote¹ above.

poetry flourished in the 13th century. It is the particular merit of Josef Matl of the University of Graz (Austria) to have uncovered a continuous subterranean literary current from West to East⁵.

5. Folklore is a supraracial phenomenon. It can be transferred from one nation to another, from one race to another. The outstanding example in this respect is the continuous stream of ladies' fashions from Europe to America.

Sometimes people get impatient when they are told that such and such customs of their nation are borrowed from other nations. They feel as if lack of originality were a blemish on their character. This unscholarly attitude, which can be found among all East European nations, is an obstacle to research. Moreover, it is a well-known fact that no nation has ever produced a high degree of culture and civilization without strong influence from the outside. The nation that first originated an idea did not necessarily develop it to a high degree of perfection. Superior, highly advanced cultures have been achieved only in areas into which strong influences converged from various sources. Thus, the unusually high cultural level reached by the Czechs, the Poles, and the Russians in the 19th century and maintained thereafter would be unthinkable without the strong influence received from the Mediterranean culture of Western Europe.

6. The majority of publications dealing with Slavic mythology reflect a certain scholarly romanticism based on conjecture and speculation of the last two centuries. Boris Unbegaun⁶ did us

⁵ «Der deutsche Anteil am Kulturaufbau Ost- und Südosteuropas», *Ostdeutsche Wissenschaft* (Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates) I (1954), pp. 124-146; «Deutsche Volksbücher bei den Slawen», *Germanisch-romanische Monatsschrift* 36 (1955), pp. 193-212; «Deutschland (Oesterreich) und die Deutschen (Oesterreicher) im Geschichtsbild der Kroaten und Serben», *Süddeutsches Archiv* 3 (1960), pp. 35-54; «Verbreitungswege und Präformation internationaler Erzählungsstoffe bei den Slaven», *Internationaler Kongreß der Volkserzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen* (Berlin 1961), pp. 188-198.

⁶ B. O. Unbegaun, «Polkan, oder vom italienischen Halbhund zum russischen Kriegsschiff», *Zeitschrift für slavische Philologie* 28 (1959), pp. 58-72. The word *polkán* is missing in Ušakov's dictionary, but in Dal' III 658 it is listed with the explanation «probably *pol(w)kónv*» and the meaning given as «skázočnoie živótnoje (i.e., 'fable animal'), kentávr ('centaur')».

a great service when he demonstrated that one detail of this mythological structure was a pure invention of the 18th century. The famous 18th-century Russian scholar M. V. Lomonosov enriched Slavic mythology by one creature, half man and half horse, called *polkán* in Russian, which, according to Lomonosov, corresponds to the *Centaur* of the ancient Greeks. Lomonosov had found the *polkans* in Russian fairy tales and since he, like many other scholars, considered the fairy tales a treasure-trove of the Proto-Slavic heritage, he attributed these Russian 'centaurs' to the mythology of the Proto-Slavs. Unbegaun has definitely proven that no *polkans* were known to the Russians before the 16th century. The word got into the Russian language through the medium of folk literature and it had come from Italy. In the Middle Ages, there was an Italian fable titled *Buovo d'Antona* in which the fabulous personage *Pulicane* plays a role. This *Pulicane* had the head, arms, and chest of a man, but the body and legs of a dog. The semi-canine nature of this human creature is pointed at by its name *Pulicane*, since Italian *cane* means 'dog'. In the 16th century the fable of *Buovo* was translated into White Russian⁷ and the Italian name *Pulicane* became White Russian *Pulkan*. This White Russian *Pulkan* is absolutely identical with its Italian prototype: he has the head, arms, and chest of a man, and the body and legs of a dog. The 16th-century White Russian version is the direct source of the Russian version of the 17th century, which differs in one detail inasmuch as the name *Pulkan* was changed to *Polkan* while retaining the nature of semi-dog. Only in later Russian versions, especially in those of the 18th century, did *Polkan* receive the nature of a semi-horse and thus resemble the Greek *Centaur*.

The example of the *Polkan* should advise a cautious attitude

⁷ The White Russian title was *Bova-Korolevič*. On the mutual relationship of the various Russian versions and on the history of the *Bova* story in Russian, cf. two articles by V. D. Kuz'mina: a) in *Starinnaja russkaja povest', stat'ji i issledovanija*, ed. by N. K. Gudzij, M.-L. 1941, pp. 83-134; b) in *Akademiya nauk SSSR, IV Meždunar. S'ezd slavistov, Slavjanskaja filologija, sbornik statej*, II, M. 1958, pp. 356-375. Useful information on the influence of the *Bova* story on Russian popular and learned poetry is also available in a book by Rita Greve, *Studien über den Roman Buovo d'Antona in Rußland*, Berlin 1956 (Veröffentlichungen der Abt. für slav. Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin, Vol. 10).

with respect to other details of traditional Slavic mythology.

7. Lomonosov's uncritical exploitation of modern folklore for the reconstruction of prehistoric mythology was a symptom of a universal disease which assumed epidemic character before and after 1800, the period of literary Romanticism; it abated somewhat at the beginning of the 20th century, but was then vigorously revived, for nationalistic aims, by National Socialist ideologists who are now perpetuated by some East European scholars, such as the Latvian Haralds Biezais⁸ and the Lithuanians Jonas Balys and Maria Gimbutas⁹. It was in vain that the Lithuanian poet and scholar Simonas Stanevičius (1799-1848) opposed this Romantic trend as early as 1829 when, in the preface of his edition of Lithuanian folk songs¹⁰, he recognized only the old historians and chroniclers (and not folklore) as sources for Lithuanian mythology. He stated specifically: «None of the songs found today originated before the last Swedish-Polish wars of the beginning of the 18th century... Children, when repeating the songs of their parents, call them ancient songs and want to forget them... Who then can expect that songs that were sung 400-500 years ago be still known today? ».

8. Boris Unbegaun¹¹ is absolutely right when he claims that Russian 'learned' (i.e., high-class) verse does not come from folk poetry. Actually the situation is reversed as far as folk songs are concerned. Folk poetry started out as 'high-class' poetry and its creation is subject to the same laws and rules. Since songs are connected with music, their text cannot be changed unless the music is changed too. As a result, they preserve the verse pattern that was in order at the time when they were created. We find, therefore, on the one hand, folk songs in which there is no conflict between the rhythmic beat and the

⁸ Cf. my review of Haralds Biezais, *Die Religionsquellen der baltischen Völker und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen* (Uppsala 1954) in *The Review of Religion XX* (New York 1956), pp. 176-178.

⁹ Maria Gimbutas, «Ancient Slavic Religion: A Synopsis», in *To Honor Roman Jakobson* (Mouton 1967), pp. 738-759.

¹⁰ *Daynas žemaycziu*, republished by Jurgis Lebedys, under the title *Simonas Stanevičius, Dainos žemaičių*, Vilnius 1954. See also the monograph *Simonas Stanevičius* by Jurgis Lebedys, Vilnius 1955.

¹¹ B. O. Unbegaun, *Russian Versification* (Oxford 1956), p. XIII.

spoken prose accent (with so-called 'accentuating' rhythm) and, on the other hand, such with 'mechanically alternating' or 'syllabic' rhythm. In the latter case, the verse is built on a mechanical alternation of one accented and one unaccented syllable, with absolute disregard of whether, in the spoken language (that is in prose), such syllables are stressed or not. In the early 18th century, there were some French and German poets who built their verses in this manner¹². This verse technique was also practiced in Polish literature prior to Adam Mickiewicz (1798-1855). According to Unbegaun, the Russians received their syllabic verse from Polish literature. Polish influence on the Lithuanian poets Poška (1757-1830) and Strazdas (1763-1833) was shown in my article on the accentuation in earlier Lithuanian poetry, published in Riga in 1959¹³.

9. In studying more closely those Russian folk songs which have regular accentuation, i.e., those which show no conflict, we come, for a number of reasons, unavoidably to the conclusion that they are of very recent origin. They were created at a time when no Russian poem was considered perfect or at least acceptable unless its accentuation did not conflict with the regular accentuation of everyday speech. Few of these songs are more than 120, and probably none at all, more than 170 years old.

On the other hand, all the songs with conflicting word accentuation are older.

10. In 1951, Elsa Mahler, professor of Russian at the University of Basel, Switzerland, published a collection of Russian folk songs (with verbal text and musical score) from the Pečory region¹⁴. The author of this book combined Russian birth and education with good training in music. The songs were collected by Professor Mahler personally from the mouth of Russian peas-

¹² P. Habermann's article « Alternierende Dichtung » in Merker-Stammeler's *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte* I (Berlin 1925-26), pp. 21 f.

¹³ « Zur Betonung in der älteren litauischen Dichtung » in *Raksti Krājums* (Sbornik statej posvjaščennyj Akademiku Professoru Doktoru Janu Endzelinu. Riga 1959), pp. 247-250.

¹⁴ *Altrussische Volkslieder aus dem Pečoryland*, Bärenreiter-Verlag, Basel 1951. 180 pages of text and 175 pages of musical scores.

ants on the western shores of Lake Pskov, in the summers of 1937-38-39, i.e., just prior to the Sovietization of that country. The texts appear in the form of the local dialect which sometimes differs in accentuation from standard Russian. While most of the songs are in full agreement with the regular word stress of the spoken local dialect, there are some with 'mechanically alternating' (so-called 'syllabic') rhythm, e.g.,

N° 36:

line 4
 когда дождицком помоца 'when it gets wet from the rain'
 (= standard Russian
 когда дождичком помокает)
 line 6
 ой когда солнышкòм пригрее 'oh, when it will warm (them)
 (= пригрéет) up with sunshine'

N° 37:

line 1
 груша, ты груша моя 'oh, you my pear-tree'
 line 8
 да дальний друг - велика 'a far-away friend is a great
 сұхотá cause of grief'
 line 9
 ближний друг - надежа 'a nearby friend - hope fore-
 (= надежда) велика ver'

11. Chronologically, the Serbian and Lithuanian folk songs were the first to attract the attention of the West. Nikola Pribić, in his recent article « Goethe, TALVJ und das südslavische Volkslied »¹⁵, has shown that, in addition to Herder (see § 13 below), even Goethe and Albrecht von Haller (1708-1777) were, to a certain degree, instrumental in popularizing Serbian folk poetry in the West.

¹⁵ *Balkan Studies* X, 1 (Thessaloniki, Greece, 1969), pp. 135-144. Cf. also Josef Matl, « Die Bedeutung der deutschen Romantik für das nationale Erwachen der Slaven », *Deutsche Hefte für Volks- und Kulturbodenforschung* IV (1934), pp. 20-24, and « Slavische und deutsche Romantik », *Deutsch-slavische Wechselbeziehungen in sieben Jahrhunderten* (Berlin 1956), pp. 367-377.

12. The best description and analysis of Lithuanian folk poetry is that given in German by Victor Jungfer in his book on Lithuania published in 1948¹⁶. Absolutely unreliable, on the other hand, is Uriah Katzenelenbogen, *The Daina. An Anthology of Lithuanian and Latvian Folk-Songs* (Chicago 1935). His incompetence shows up on every page. Unfortunately, Katzenelenbogen does not stand alone with his uncritical and phantastic theories. They date back to the beginning of the 19th century when, under the impulse of the German Romantic Movement, the interest in Lithuanian folk poetry, first aroused by the German critic and poet Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), got its strongest impetus.

13. Johann Gottfried Herder's (1744-1803) praise of the Lithuanian folk songs created a widespread, contagious German enthusiasm and laid the foundation to the later general (world-wide) folklore enthusiasm, which engulfed also the Slavic world, starting with the admiration of Serbo-Croatian folk poetry expressed by the Grimm brothers on the occasion of the first publication of Serbian folk songs by Vuk Karadžić (1787-1864)¹⁷.

14. The outstanding figure in this movement, as far as Lithuanian folklore is concerned, was Ludwig J. Rhesa (1776-1840), doctor of theology and philosophy, professor of theology and director of the Lithuanian Theological Seminary of the University of Königsberg who, in 1825, published the first collection of Lithuanian folk songs¹⁸. The intellectual atmosphere of Königsberg

¹⁶ Victor Jungfer, *Litauen. Antlitz eines Volkes*. Tübingen 1948; pp. 35-102.

¹⁷ The fourth edition, in nine volumes, appeared in Belgrade in 1891-1902, under the title *Srpske narodne pjesme*.

¹⁸ Ludwig J. Rhesa, *Dainos oder Litthauische Volkslieder* to which he appended a treatise on Lithuanian poetry: *Abhandlungen über die litthauischen Volksgedichte*. A modern edition was prepared and published in Kaunas by Mykolas Biržiška under the title *Liudas Rėza, Dainos*. Part I (1935) and Part II (1937). An even more recent edition appeared in Vilnius in two parts, under the title *L. Rėza, Lietuvių liaudies dainos I* (1958), prepared by J. Jurginis and B. Kmitas; II (1964) by A. Jovaišas and D. Venclovaitė. The unpublished doctoral dissertation *Die Litauer in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts*, written under the supervision of Josef Nadler and submitted to the University of Vienna (Austria) by Ignas Skrupskelis in 1932 was, 25 years after the author's death in Vorkuta, published in a Lithuanian translation by Lietuvių Katalikų Mokslo Akade-

of that time is described by Juozas Eretas (= Joseph Ehret) in two thorough studies (with an exhaustive bibliography) written in the Lithuanian language and published in Kaunas in 1937 and 1938¹⁹. Rhesa's romanticism come from his teacher at the University of Königsberg, Professor Johann Gottfried Hasse (1759-1806) who, though a theologian, dabbled in archeology and proclaimed in his printed publications that the paradise of the Old Testament was located in East Prussia and that East Prussia was the cradle of mankind. A pupil of Herder's. Hasse had come to Königsberg from Weimar. His enthusiasm for East Prussia as well as the general German enthusiasm for the Lithuanian folk song are comparable to the contemporaneous German enthusiasm for the 'noble savage' (that is the American Indian) and the later philhellenic craze.

15. Lithuanian text books, e.g., those by Mykolas Biržiška, consider songs old because they tell about events that took place long ago. The several 'historical songs' listed by Katzenelenbogen (pp. 56-58) are to be considered in this light; likewise the 'historical songs' included in other printed collections, e.g., the 1954 Collection of Lithuanian Folklore²⁰ where reference is made to historical events that took place in 1362 and 1605.

16. Four other songs ('The Moon Married the Sun', etc.) printed in the same collection of 1954²¹ (pp. 48-51) are presented as descriptions of phenomena of nature. They are all taken from Rhesa's edition of 1825. After 1918, they were reprinted again and again in Lithuanian (non-Communist) school books as examples of pre-Christian nature mythology. Actually, we have here allegorical poems which originated in Protestant East Prussia sometime during the 18th century. They are part of the same German treasure of allegorical motifs which was source and

mija (Piazza della Pilotta 4, Rome, Italy) under the title *Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje*; Rome 1967. Unfortunately, this publication is not updated.

¹⁹ Juozas Eretas, «Rėzos gimtinė» (Rhesa's birthplace) in *Athenaeum VIII* (Kaunas 1937), pp. 153-186, and «Rėzos santykiai su Goethe» (Rhesa's relations with Goethe), *Athenaeum IX* (Kaunas 1938), pp. 1-55.

²⁰ *Lietuvių tautosakos rinktinė* (Vilnius 1954), pp. 190, 514, 515, 516.

²¹ See footnote²⁰ above.

inspiration for the German poet Heinrich Heine (1797-1856) when he wrote the poem (in the cycle *Nordsee* included in *Buch der Lieder* of 1827) about *Sun* and *Moon* forming a separated married couple.

17. In another song of the 1954 Collection of Lithuanian Folklore (p. 85) an orphan girl complains that she has no parents, brothers, and sisters who could help her to get married. Then she says that *sáulė* 'the sun' is her mother, *mėnuo* 'the moon' her father, *žvaigždė* 'the star' her sister, and *sietynas* 'the Pleiades' her brother. Note that the Lithuanian words *sáulė* and *žvaigždė* are feminine and therefore assigned the functions of mother and sister, but *mėnuo* and *sietynas* masculine and therefore used for father and brother.

Since the grammatical gender of these words was not the same in Proto-Indo-European (as far as these words existed at that time), the imagery of the verse cannot go back to that period and consequently does not bear witness to any pre-Christian mythological belief. However, the German words for 'sun' and 'moon' (in contrast to Italian and French) have the same grammatical gender as the corresponding Lithuanian designations. This song too must have originated in East Prussia and since the Lithuanian population of East Prussia does not date farther back than about 1400 A.D., the song certainly could not be of pre-Christian origin. Calling the far-away and unreachable heavenly bodies her only relatives is merely a means to emphasize the utter loneliness and poverty of the girl.

18. The collection *Old Lithuanian Songs*, translated into English by Adrian Paterson, provided with an introduction by Martin Lings, and published by Pribačis in Kaunas in 1939, contains 44 songs and 3 funeral laments in an excellent English rendering. Both the translator and the commentator, former lecturers in the English language at the University of Kaunas, Lithuania, agree that these songs could not be the creation of an uncivilized populace, but are «the product of an ancient and highly intellectual aristocracy». We take issue with the attribute «ancient». In the case of Martin Lings, this is expression of his culture theory which is absolutely abstract and unrealistic, and,

by his own admission, indebted to René Guénon's theories published in the thirties in the magazines *Le Voile d'Isis* and *Études Traditionnelles* as well as in separate books mentioned by Lings. We are opposed to this method on the ground that Lithuanian literature, which is absolutely European and (even in its anonymous part) quite modern, must be studied against the background of the history of the Lithuanian people.

19. Comparisons of Lithuanian folk poetry with that of neighboring nations, in the manner applied by Bolte and Polivka to the German fairy tales of the Grimm brothers²², were hardly ever made. An exception was the collection of folk songs and tales from Prussian and Russian Lithuania by A. Leskien and K. Brugmann published in 1882²³, where Chapter III gives the Lithuanian folk tales in German translation, provided with annotations by Wilhelm Wollner. These annotations (pp. 511-576) are important because of their references to Slavic and German parallels and prototypes (original sources). Relations between Lithuanian and Finnish folk poetry were described by A. Niemi in *Litauische Warte* N. 1 (1920). On the other hand, Jonas Balys used to make references to Sanskrit and Celtic parallels (omitting Slavic and German) and would come to unrealistic conclusions, according to which all the motifs or other peculiarities are supposed to be inherited from the Proto-Indo-European period. Later, e.g., in 1951²⁴, he did admit the possibility of German and Slavic influence, but he did not go far enough. Moreover, he has a tendency to ascribe motifs which are not Christian in the Roman Catholic or Russian Orthodox sense to pagan antiquity, thus identifying German Protestant influence with Germanic pre-Christian paganism. Had Balys been familiar with Russian literature, he would not have failed to recognize Russian influence in his tales Nos. 32-37 (spun around the advice that the dead

²² J. Nolte and G. Polivka, *Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm*; 5 vols., 1913-1932.

²³ *Litauische Volkslieder und Märchen aus dem Preussischen und Russischen Litauen*. Straßburg 1882.

²⁴ Jonas Balys, *A Treasury of Lithuanian Folklore*. Part I: *Ghosts and Men. Lithuanian Folk Legends about the Dead* (126 pp.). Part. II: *Folk Magic and Folk Medicine. Lithuanian Incantations and Charms* (94 pp.); Bloomington, Indiana; specifically Part I.

should not be mourned excessively) which remind us of Father Zossima (in Dostoyevskis's novel *The Brothers Karamazov*, Part I, Book 2, Chapter 3) who reprimands the peasant woman for neglecting her husband with her grieving over the death of their child. In N. 27 we are reminded of the following passage in the same novel (Book 3, Chapter 1): «The woman believed that she heard her own dead baby crying and calling for her». In another passage of the same novel (V, 5), Dostoyevski has Ivan Karamazov say: «As man cannot bear to be without the miraculous, he will create new miracles of his own for himself, and will worship deeds of sorcery and witchcraft». This elemental or primitivistic explanation is more realistic than the pseudo-historical search for motifs inherited from pre-Christian paganism. The Lithuanian stories (Nos. 85-103 of Balys' collection) about dead men haunting their former homes, who had been put to death by cutting their heads off and placing them between their legs, show clear traces of Russian origin in the vocabulary used, namely loan words unknown in the modern Lithuanian standard language, e.g., *ulióti* 'to haunt' (< Russian *gul'át'*).

20. A closer comparison of Lithuanian folklife with White Russian, Russian, Polish, and German folkways will reveal a very close affinity of Lithuanian folklife with, and dependence on that of the neighbors. In my study *Lithuanian Dialectology*²⁵ (p. 49) we find the following passage: «When early in spring the children of Udrija, Alytus county, see for the first time a stork, they start to shout: *bùsil, bùsil gà-ga-gà; tàvo mòtka ràganà* 'storkie, storkie drone; your mammy is a crone'. This rhyme is also said in Raudondvaris, where my wife was born, and in Subartonyš, the birthplace of the poet and philologist Vincas Krėvė-Mickevičius²⁶. All over the country children like to tease the stork and to make fun of it in form of such ditties or rhymes». Cf. with this the following observation made in Moscow by the American Leslie C. Stevens²⁷ about seventeen years ago: «While

²⁵ Supplements to the *American Slavic and East European Review*. N. 1, Menasha, Wis., 1945. Reprinted in 1966 by Johnson Reprint Corp., New York.

²⁶ Other children's rhymes making fun of the stork are given by V. Krėvė-Mickevičius in *Mūsų tautosaka I* (Kaunas 1930), pp. 71-72.

²⁷ Leslie C. Stevens, *Russian Assignment* (Boston 1953), p. 90.

waiting for things to begin, the children [invited to a Christmas party at the American Embassy] played the universal game of run-sheep-run, but they called it 'Goosey, goosey, ga-ga-ga', as they chose up sides to Russian nursery rhymes». Clearly, the Lithuanian expression *gà-ga-gà* is the same as the Russian (this is an imitative formation) and there is no doubt that the Russian formula could not have been borrowed from Lithuanian, but rather vice versa.

21. While the folklore of Lithuania Minor (formerly called 'Prussian Lithuania') shows a high degree of German influence, that of Lithuania Major (formerly called 'Russian Lithuania') has undergone an even stronger Polish influence. This is understandable if we keep in mind that for several centuries and until relatively recently the Polish language had been the literary vehicle for the great majority of the literate Lithuanians. As a result, most of the earlier cultural achievements of the Lithuanians were in one way or another due to Polish influence. As to folk poetry, it must be assumed that in the areas of mixed (Lithuanian-speaking and Polish-speaking) population the same stories were told in both languages, for the people were united by the same religious creed, Roman Catholicism, and the Church was the most powerful cultural institution. Even Vincas Krėvė himself, the greatest of all Lithuanian writers, wrote in the Polish language in his earlier days²⁸. In Boehm's & Specht's book of 1924 on Lettish and Lithuanian folk tales²⁹, Specht makes the following statement: «One can never be sure whether a Lithuanian tale is not just a translation of a Slavic tale». Most of the Lithuanian folk tales originated in Polish chapbooks which were orally translated into Lithuanian. How these Polish stories infiltrated into the Lithuanian language and folklore is described by Krėvė-Mickevičius³⁰: «There was in our village a man named Kačinskas Antanas. He was regarded as a highly educated man, and, indeed, he knew many things and used to have many Polish books. In the evenings many people, old and young, would

²⁸ Cf. *Krėvės Raštai I* (Kaunas 1922), pp. 99-136.

²⁹ Boehm-Specht, *Lettisch-litauische Volksmärchen* (Jena 1924), pp. 157 f.

³⁰ *Mūsų tautosaka I* (Kaunas 1930), p. 107.

assemble at his place and he would tell them various beautiful stories ».

22. Concerning the origin of the Polish folk tales may we quote an unquestionable authority, the joint statement of the German Bolte and the Czech Polívka:³¹ « With only very few exceptions they [the Polish folk tales] are closely connected with those of Central Europe, both as to subject matter and form. The tales popular in Western Europe, Biblical and apocryphal legends, collections of stories and anecdotes to be used for sermons such as the *Gesta Romanorum*, the *Seven Wise Masters*, and numerous merry tales, penetrated into Polish literature and descended into the masses through the intermediary of the chapbooks which have been reprinted until very recently. Through Polish mediation this literature wandered even farther to the east into Russian literature »³².

Alfred Senn

³¹ Bolte-Polívka, *Anmerkungen zu den Kinder- und Haus-Märchen der Brüder Grimm* V (1932), p. 136.

³² Cf. Alfred Senn, « On the Sources of a Lithuanian Tale », in *Corona* (edited by Arno Schirokauer and Wolfgang Paulsen; Duke University Press, Durham, N. C., 1941), pp. 8-22. *Id.*, « Notes on Religious Folklore in Lithuania », in *Slavic Studies* (edited by Alexander Kaun and Ernest J. Simmons; Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1943), pp. 162-179.

THEME AND STRUCTURE IN FATHERS AND SONS

Fathers and Sons marks a kind of climacteric in Turgenev's life and work. It is arguably his best novel and certainly far superior to either of his later ones. It was planned just before, and completed just after, the emancipation of the serfs — the great political objective on which Turgenev had set his heart and one of the main inspirations of his first great literary triumph, *A Sportsman's Sketches*. And the storm of criticism which it provoked must have been one of the main factors, if not the main factor, in his removal abroad, with its fateful consequences for his writing. In the six years 1856-61 inclusive Turgenev spent in all some 30 months in Russia, and kept his main base there; in the six years 1862-67 inclusive he spent about 6 months in Russia and had his main base in Germany, and in the remaining fifteen and three-quarter years of his life he spent in Russia less than two years. This change of domicile is reflected differently in his novel-writing and in his short stories. Between 1855 and 1861 Turgenev produced four novels; between 1862 and 1883 he produced two novels, both of them inferior to the best of his earlier ones. The effect of living abroad on his short stories was more subtle. There was no falling-off in output¹; nor can one predicate any general decline in quality, although more of the acknowledged masterpieces fall in the first twenty years. But what is noteworthy is that most of the post-1862 stories deal with the Russia which had been Turgenev's home and of which

¹ Sc. counting *A Sportsman's Sketches* as sketches (as distinct from short stories).

he had really intimate knowledge, that is, the Russia of before 1861.

A number of the traditional misconceptions about the novel and its hero must be blamed on Turgenev himself. To begin with, the title clearly implies that the central conflict is between two generations; but this is not so in any significant sense. Katya and Arkadi belong to Bazarov's generation in years; but in outlook Katya has remained with the older generation and Arkadi ends by rallying to their side. Insofar as there is a central conflict, it is Bazarov *versus* the Rest (Arkadi, Sitnikov and Kukshina are, in effect, mere camp-followers, the difference being that Arkadi is genuinely carried away for a few months², where the other two have nothing genuine about them but simply ape what they take for the latest fashion). But if it is Bazarov *versus* the Rest, it is manifestly not a class conflict (*raznochinets* against nobility), for Bazarov's ideas and attitudes are as remote from those of his own parents as from those of the Kirsanov brothers. And in fact the word 'conflict' can only be used here in widely different senses. The opposition between Bazarov and his parents or between Bazarov and Nikolai Kirsanov is muffled by mutual goodwill; it is essentially static and undramatic. The opposition between Bazarov and Katya never finds direct expression: his admiration of her is only confided to Arkadi and never reaches her; semi-hostility to the 'alien', the 'predator' is rooted in unconscious jealousy — if she is to win Arkadi, she has to wean him from his hero-worship of his friend — but it, too, goes no further than Arkadi's ear. The only oppositions which involve a dramatic conflict are those between Bazarov and Pavel Kirsanov and between Bazarov and Odintsova.

Nor is our understanding of Bazarov helped by Turgenev's apologetics. It will be recalled that Turgenev was attacked for the figure of Bazarov as bitterly from the Right as from the Left. In a word, the Right complained that he had made a hero of his protagonist; the Left complained that the protagonist was a ca-

² The interval between Bazarov's first appearance and his death is about two months: from late May to late July. But he and Arkadi had met during the preceding winter.

ricature. Turgenev continued for the rest of his life to deny both charges; but he was more concerned by the alienation of the more youthful and radical part of his public, so that the main drift of his exegesis is to repel the accusations of caricature. It is worth comparing accounts of Bazarov contained in three of Turgenev's letters written within a ten-day period in April 1862.

To K. K. Sluchevsky, the representative and mouthpiece of the critical younger generation, Turgenev wrote (14/26 April): 'if the reader does not take Bazarov to his heart, with all his crudity, heartlessness, relentless dryness and harshness (...), the fault is mine and I shall have failed of my purpose (...). My vision was of a great, wild, crepuscular figure, half emerging from the soil, powerful, embittered, honourable, yet doomed to destruction because it stood, after all, only on the threshold of the future — I envisaged a sort of strange *pendant* to the Pugachëvs and such like [...]'.

To Alexander Herzen Turgenev wrote a couple of days later (16/28 April): 'in creating Bazarov I not only was not angry with him but I felt for him «*vlečen'e, rod neduga*»³ (...). Of course he overwhelms «the man with the perfumed mustache» and the rest! It is the triumph of democracy over aristocracy. With my hand on my heart, I cannot feel I have sinned against Bazarov (...). If people do not take him to their heart as he is, with all his unseemliness — then I am at fault and have failed to cope with the type I had chosen. It would have been an easy matter to present him as an ideal [figure]; but to make him a wolf and yet justify him — that was difficult; and I may well have failed in that; I am only concerned to repel the charge that I was incensed against him. On the contrary, it appears to me that a feeling quite the reverse of irritation shines through in everything, in his death etc.'

To his friend Fet he had written ten days earlier (6/18 April), refuting an accusation of bias: 'Did I intend to berate Bazarov or to extol him? *I myself don't know that*, for I don't know whether I love or hate him! So much for your [charge of] tendentiousness!'

³ Griboedov, *Gore ot uma*, Act IV, sc. 4: Repetilov's words to Chatski.

So for Sluchevsky Bazarov was intended to be 'a tragic personage', for Herzen — 'a wolf', while to Fet Turgenev professes an utter ambivalence towards his hero. It is not necessary to impugn his sincerity. But, on the one hand, he was incapable of not being swayed by the expectations of the person to whom he was writing; and on the other hand, like his own heroes, he has only a limited understanding of himself. Indeed he has only limited intellectual understanding (as distinct from artistic intuition) of his personages: the cardinal demonstration of this is the almost incredible fact that chapter XXXV of *A Nest of Gentlefolk* (containing the history of Liza's childhood and development: without which she might well remain a baffling riddle to the reader) was added only as an afterthought and at the instance of his friends.

In fine, the more one studies Turgenev's pronouncements about this novel, the less will one feel inclined to take them as authoritative definitions of any of the main characters or themes. They should, of course, be borne in mind and taken into account; but they should also be constantly weighed against the evidence of the text.

Thus, in his letter to Herzen he presents the superiority of Bazarov as 'the triumph of democracy over aristocracy', and in the letter to Sluchevsky, quoted from above, he declares: 'My whole novel is directed against the nobility as the leading class' (sc. against any claim that the nobility should provide the leadership for Russian society). Neither of these assertions is to be taken at its face value. Whatever superiority over the other personages we may allow to Bazarov, the novel shows clearly that he is not yet a viable type, whereas Nikolai Kirsanov, Arkadi and Katya are all still viable. And in what sense can he be classified as a democrat? By origin he is, like Lavretsky, the product of a cross-class marriage: his mother a noblewoman, his father the son of a peasant. He is set as far apart from the peasants by his personal pride as is Pavel Kirsanov by his pride of birth. Bazarov is the harbinger of a new élite: an élite based on personal merit. But one swallow does not make a summer: the day of the Bazarovs is still far off, and in the meantime the destinies of Russia were left in the hands of Arkadi Kirsanov and Odintsova's second husband. True, they were not leaders — they

lacked the vision and the creativity of leadership — but as caretakers or preservers of an inheritance they offered a respite during which true leaders might have appeared.

Structurally and thematically *Fathers and Sons* differs significantly from Turgenev's three earlier novels. It is considerably longer — about half as long again as *Rudin* and perhaps 20% longer than the other two — and it is far more dramatic. In *Rudin* the proportion of dialogue to narrative may be slightly higher, but this includes a good deal of narrative put into the mouth of one or other of the characters (Lezhnev's account of his and Rudin's student days, Rudin's tale of his wanderings and struggles).

But the proportion of dialogue is only a pointer. In all four novels the hero is tested against another man and against a woman. But in the earlier novels the contest between the men is secondary and episodic or muted (*Rudin* triumphs over Pigasov in one evening and is hardly aware of Volyn'tsev's jealousy; Lavretsky routs Panshin in a single debate; Insarov does not even clash with either Bersenev or Shubin, but is merely contrasted with them), while the testing of the man by the girl — by love — is central and crucial. In *Fathers and Sons* the conflict between the hero and the other man becomes central — so much so that many critics treat this as *the* theme of the novel — and highly dramatic, though not crucial; while the testing of the hero by love remains crucial but ceases to be central.

In fact, *Fathers and Sons* can be seen as a drama in four acts and an epilogue; the first three acts are of roughly equal length, the fourth is shorter by slightly more than one-third. Act I, comprising chapters I-XI, might be entitled 'Bazarov and the Kirsanovs'; act II — chapters XII-XIX — could be called 'Bazarov and Odintsova'; acts III and IV — chapters XX-XXIV and XXV-XXVII — might be styled respectively 'The Decline' and 'Fall of Bazarov'.

Who, then, and what is Bazarov? He represents Turgenev's third attempt in a novel to present a positive hero, a Don Quixote type in Turgenev's sense of the formula. As such, he would be (as Turgenev in his letters claims he was intended to be) both lovable and a tragic hero. Yet, paradoxically, he failed to win the heart of his creator (as Turgenev implicitly recognises in the al-

ready cited letter to Fet and explicitly — seven years later in ‘Po povodu « Ottsov i detei » ’). Whether we regard Bazarov as a tragic figure is likely to depend on what scale we posit as requisite for tragedy. If we rank Pechorin and Rudin as tragic heroes, we cannot deny the title to Bazarov...

Bazarov is introduced to the Kirsanov brothers — and to us — as a nihilist. The word was not new, even in Russian, but Turgenev used it to designate what he took to be a new social type.

A nihilist, Arkadi explains to his uncle, is a man who does not bow before any authority, who takes no principle on trust, however generally respected it may be. Bazarov in his first clash with Pavel Petrovich endorses this in slightly more aggressive terms. In a later argument (chapter X) he says, among other things: ‘We act on the strength of what we recognise as useful (...). At the present time there is nothing more useful than negation [so] we negate (...). Everything.’ Nikolai Kirsanov objects: ‘You negate everything or, to put it more precisely, you destroy everything... But surely it is necessary to build also.’ To which Bazarov retorts: ‘Indeed that is not our business... The first thing to be done is to clear the ground.’

Among the values *negated* by Bazarov are: art and literature and all aesthetic feeling, even for the natural world; philosophy and other forms of abstract thought; and personal relations, in particular all forms of tender feeling. Thus he proclaims: that Raphael is not worth a brass farthing; that a decent chemist is twenty times more useful than any poet; that Pushkin is rubbish — no fit reading for a grown man. A man playing the ‘cello makes him roar with laughter. He tells Arkadi that Nature as Arkadi sees Nature (i. e. as a source of aesthetic or emotional stimulation) is nonsense. *Principles* are an empty word; philosophy is *romanticism* (which for Bazarov is a term of unmitigated condemnation); love is an affectation. Similarly, he lays it down that it is not worth while to study individual personalities since men are as much alike, in soul as well as in body, as the trees in a forest.

Bazarov’s own values are: utility (that is his criterion for action) and experience (that is his criterion for truth). In other words, he is a utilitarian and an empiricist (though he would

be sure to protest against such terms as foreign and abstract and therefore superfluous!).

In his initial definition of nihilism Arkadi avers that the nihilist ‘regards everything from a critical point of view.’ So it is all the more striking that there is no sign of any such critical point of view either in Bazarov’s rejection of the traditional values or in his acceptance of the newfangled ones. Thus Pisarev’s view of Bazarov as a sceptic is untenable. Bazarov is just as dogmatic as Pavel Petrovich both in his negations and in his axioms.

In the first *act* of the novel Arkadi implies, and Bazarov assumes, that the essence of the hero is exhausted by, or reducible to, the concept of ‘nihilism’ and that nihilism is definable as the critical rejection or transcending of traditions and conventions. The following three *acts* disclose the basic falsity of these assumptions. This is a not uncommon pattern in Turgenev. We meet his protagonists full of illusions about themselves, and the story then shows how life explodes these illusions. But whereas in Jane Austen, for instance, the protagonist learns the lesson of life and, starting from equally radical misconceptions, journeys through self-discovery to self-knowledge, the Turgenevan hero commonly ends with no more understanding of himself than he began.

Having thus summarily indicated the inadequacy of ‘nihilist’ as a definition of Bazarov, we may as well turn at this point to an analysis of the four *acts* of the novel in hopes of gaining from that a clearer and deeper insight into his ‘essence.’

In Act I (chapters I-XI) Bazarov is surrounded by Kirsanovs—all alien to him in traditions and culture but differing from one another in their attitudes and reactions to him. Arkadi has been bowled over by him and appears as his devout disciple. Pavel is soon his implacable enemy. Nikolai is disconcerted and disturbed by him but anxious to understand him and do him justice.

Arkadi is essentially a younger version of his father, as we can see before the end of the tale; and Nikolai Kirsanov is not only a contemporary of Turgenev himself but to some extent a projection of his creator. Psychologically, Nikolai Kirsanov is invested with Turgenev’s gentleness, his lack of drive, of self-

assertion, of practical efficiency. Ideologically, he shares Turgenev's own liberalism: his measures to forestall the emancipation of the serfs reflect Turgenev's own treatment of his peasants in those years, and the resulting difficulties and disappointments correspond to those which Turgenev himself had experienced. Common to both personage and author was the love of music and poetry—of Pushkin in particular—and the poetic feeling for landscape. It is lesseasy to gauge the amount of autobiography infused into Nikolai's relation with Fenechka: the child of Turgenev's early *liaison* with one of his mother's serf-girls had been not a boy but a girl, and Turgenev did not marry its mother.

In view of all this, and of Turgenev's insuperable ambivalence towards Bazarov, it was no doubt psychologically and artistically wise not to make Nikolai Bazarov's main antagonist. Nikolai was temperamentally unfitted for effective polemics, irrespective of who the opponent might be. And his attitude to Bazarov, as we see it in the novel, is fundamentally akin to Turgenev's own, though one might suspect that Turgenev may at different times have felt much more strongly about Bazarov, both positively (like Arkadi) and negatively (like Pavel).

Unfortunately, Pavel Kirsanov, who is picked as Bazarov's adversary, is not a particularly impressive specimen of the *superfluous man*—is hardly more than the pallid epigone of a great line (not for nothing did Turgenev in 'Po povodu «Ottsov i detei»' accuse himself of having sinned against artistic truth by exaggerating Pavel Kirsanov's faults almost to the point of caricature and making him ridiculous).

Though evidently a contemporary of Lermontov and Herzen, Pavel Petrovich shows little sign of demonism; nor is he a dreamer like his brother and nephew. In a number of ways he seems a throwback to the generation of Chaadaev and Onegin. His dandyism, his spleen, his pride of race, his foible for the English and aversion from the Germans are all characteristic of the earlier period⁴. Other traits of his are not so easy to date. Turgenev

⁴ Dandyism and addiction to German culture are, of course, to be found in both decades (Pechorin at the end of the 30's is still a dandy, in the 20's Zhukovsky continues to translate German poetry, and the *lyubomudry*

telles us that he was not born *romantic*, and adds: 'his dandy's soul, dry, passionate and misanthropic after the French fashion, was incapable of dreaming⁵.' The dryness and the Gallic misanthropy fit the 1820's, but passion is more characteristic of the 1830's. His fixation to an unhappy love and his Slavophil velleities may be traceable to the 1830's but are more likely to be of more recent date.

Bazarov has distinctly the better of the two clashes with Pavel Petrovich in Act I (chapters VI and X); and this is fair enough. In the first place, Pavel Petrovich is on both occasions the aggressor. Secondly, he rushes into battle head down, with a lamentable lack (lamentable in an ex-officer and a general's son!) of tactical finesse or foresight. Thirdly, he attacks the enemy on that enemy's home ground, with only a limited knowledge of the terrain—or, in non-figurative language, only a limited understanding of what he is up against. This is shown clearly in the second encounter, when he is left breathless by Bazarov's cool negation of 'everything,' although if he had paid any serious attention to Arkadi's original policy-statement, this should not have surprised him at all.

But while it may be true to the facts of social life that a man of Pavel Petrovich's station and culture would not have been equipped to argue effectively with a Bazarov, it is yet disappointing that the fight is so unequal and never comes near the bone of the contention. And all for lack of a little semantic sophistication! Pavel Petrovich has none; Bazarov shows only an occasional glimmer. For instance, he is quite right when he points out that 'science' is only a linguistic figment. But when he said in the preceding sentence: 'I believe in nothing,' and when, two minutes before that, he said: 'A decent chemist is twenty times more useful than any poet'—he left himself wide open to a demand that he define 'belief' and 'usefulness' and that he explain just how he would propose to *measure* usefulness.

appear as adepts of Schellingianism), but in the 20's the dominant trend was that of Pushkin and Onegin, in the 30's the 'pure' demonic hero (a Dimitri Kalinin, a Vadim) was anything but a dandy.

⁵ И не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа... (chapter XI).

^{5a} M. O. Gershenzon, *Mečta i mys'l' Turgeneva*, 1919 (Pt. I, ch. 3).

The first clash is cut short by a diversion of Nikolai Kirsanov's before it has properly got under way. The second runs its course; but though it raises capital issues, the older man's clumsiness and excitement make it easy for Bazarov to dance away from them. Thus, Pavel Petrovich tangles up the question of the aristocracy and its claim to consideration with the question of personality, and the question of personality with his own personality and personal habits, so that Bazarov is free to parry him on the personal plane and avoid the general issue. But as soon as Bazarov goes over to the counter-offensive, he in turn becomes vulnerable—yet is allowed to get off scot-free. First, he objects to the use of foreign abstract terms, such as *liberalism*, *principles*, *progress*; then, when he is challenged to say what determines his actions, he declares: 'We act on the strength of what we recognise to be useful.' Here he exposes himself to two devastating retorts. First, that most of the terms he uses in the physical sciences are no less foreign, and some are no less abstract, than 'liberalism,' 'principles' and 'progress.' And secondly—and more fundamental—that his repudiation of principles is contradicted by his acting on the basis of what he considers useful, since this is obviously to act on a principle. But in fact, in the latter part of this scene Pavel Petrovich abandons argument for invective and so loses whatever chance he might have had of dinting his opponent's armour.

Next day the two young men leave the Kirsanov estate. In real life convictions are seldom changed by argument; if they change, that is usually the work of life itself. And so it is in *Fathers and Sons*.

Act II (chapters XII-XIX) begins with a would-be Gogolian intermezzo in the provincial capital. These eleven pages (chapters XII and XIII) constitute a *pendant* and contrast to the first eleven pages of Act I (chapters I-III): a *pendant*, in that both sequences form only a prelude to the main business of the *act* and in that each presents two 'foils' to Bazarov; a contrast, in that Bazarov has only a «walking-on part» in the first but a significant, though not dominant, rôle in the second, and in that the two 'foils' in the first sequence (Nikolai Kirsanov and, more especially, Arkadi) are to play a far more important part in the story than the 'foils' in the second (Sitnikov and Kuk-

shina). There is a further contrast between the gentle, almost tender irony with which Turgenev introduces Arkadi and his father and the bald, uncharitable showing-up of Kukshina and Sitnikov. Gershenzon complains bitterly of the petty and superficial quality of Turgenev's satire and irony. So far as the portrayal of these two pseudo-radicals is concerned, it is hard to disagree with him. But at a deeper level—admittedly, one which transcends the limits of the novel itself—there is a quite tragic irony in the contrasting quality of the disciples of Bazarov and of Rudin. To recall Natal'ya and Basistov while confronted by Arkadi and Sitnikov is perforce to ask oneself whether those differences in quality are to be correlated with the personalities of the two teachers or with the character of the two teachings.

However that may be, Act II pivots on the 'duel' between Bazarov and Odintsova as Act I pivots on that between Bazarov and Pavel Petrovich. In both cases it is not Bazarov but his opponent who takes the initiative—who forces or draws Bazarov into argument. In both cases Bazarov is allowed to have the last word, not to say the upper hand. His two colloquies with Odintsova (chapters XVII and XVIII) may be compared with his two discussions with Pavel Petrovich (VI and X): in both cases the first is cut short (by Nikolai's intervention, by Bazarov's withdrawal though Odintsova seeks to detain him) while the second works up to a climax of heated emotions and is followed by Bazarov's departure (from Mar'ino, from Nikol'skoe).

These parallelisms are on the surface and obvious. Much less obvious is the fact that both Pavel Kirsanov and Odintsova are impelled to involve themselves with Bazarov—to come to grips with him—by what they have in common, by their affinities with him. What all three have in common is, first, their anti-romanticism and dryness. All three fight shy of dreams and emotions, which implies not that they are unemotional but that they know, or fear, at least unconsciously, the dangers of giving their emotions free play. In this sense all three are chargeable with the 'misanthropy' which Turgenev imputes specifically to Pavel Kirsanov. They will not, or dare not, let anyone get too close to them. This is as true of Odintsova in relation to her sister as of Pavel in relation to his brother or of Bazarov in relation to his parents. And in this 'misanthropy' there is

another common element—pride. That each of the men has an enormous regard for himself and a considerable measure of contempt for his fellow-humans is evident enough. No doubt it is less obtrusive in Odintsova; but she herself says to Bazarov: 'I (...) have been poor and proud like you'; and Katya says of her to Arkadi: 'But nobody can sway her for long (...) She is very proud... I didn't mean to say that... she sets great store by her independence.' Or course the three, though equally proud, manifest their pride differently. Pavel Kirsanov's is a predominantly passive disposition, so that his pride holds him aloof from people; Bazarov's disposition is active, so that his impulse is to get involved with others, even if that means attacking them⁶; Odintsova's combination of curiosity with defensiveness leads her to welcome and explore new relationships while refusing to commit herself too deeply. Another trait shared by all three personages is that each is a law unto himself: in other words, they live as they think fit—without overmuch regard for conventions, public opinion or the susceptibilities of others⁷.

The two men are linked by a further characteristic which differentiates them both from Odintsova: their 'passionate and splenetic' temperament (to use Pisarev's apt definition). It is precisely this affinity of temperament which makes them intolerable to each other, though each of them tends to rationalise his hostility in terms of the other's pride⁸. But it is their common

⁶ Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними. (XXI).

⁷ Of Odintsova Turgenev tells us: Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный (ch. XV), and in her relation with Bazarov we see her 'playing with fire'. Pavel Kirsanov's pose as a dandy is both out-of-date at the end of the 50's and out-of-place in such a rural backwater—a tacit challenge or provocation to his neighbours. Bazarov's pose of 'ungentlemanliness' is likewise primarily a provocation, but it is punctured by his agreement to fight with Pavel Petrovich, and in his relation with Odintsova it keeps breaking down. The absolute sincerity which Pisarev claims for Bazarov cannot in any case be equated with spontaneity. He is most nearly spontaneous with his mother, with Fenechka and, at times, Odintsova. With men his main concern is to keep them at a respectful distance: hence his protective armour—of ungentlemanliness *vis-à-vis* his father or Arkadi.

⁸ Thus we read (ch. X): Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем (...) Bazarov is less ready here, as in other contexts, to admit or to recognise his own feelings. But his reply when, after their first clash, Arkadi reproaches him for having offended Pavel Petrovich, is quite revealing:

temperament which imbues the pride of both with that aggressive arrogance from which Odintsova's equal pride is plainly free. And that accounts for the fact that Odintsova's 'duel' with Bazarov is motivated by a mutual attraction whereas that between Bazarov and Pavel Petrovich results from a mutual hostility.

So, while the two men part with no harm done, Bazarov leaves Nikol'skoe carrying a deadly wound. In the mainly intellectual struggle against a hostile male Bazarov holds his own; in the mainly emotional struggle with an attractive woman he succumbs—although it takes another two *acts* to finish him off.

Odintsova was not understood by Sluchevsky and his fellow-students, and Turgenev in his exasperated attempts to dispel their misconceptions is rather less than fair to her. 'Odintsova is just as far from *falling in love* with Arkadi as with Bazarov—how could you fail to see that! She is the very representative of our idle, daydreaming, curious, epicurean ladies, our noblewomen (...) First she would like to stroke the wolf's fur (Bazarov), provided he won't bite—and then the boy's curls—and go on lying, all freshly bathed, on velvet'. (Letter of 14/26. iv. 1862).

Most of this may be true. But the epithets 'idle' and 'epicurean' hardly correspond to the energy and courage with which she meets Bazarov's deathbed appeal. An epicurean would have stayed away—or, at best, stopped short on the threshold of the sick-room. She risked infection (we do not know how great the risk was—but, then, neither did she) by sitting close, where he could see her, and by kissing him at the last. Bazarov himself says of her coming: 'This is a princely act (Eto po-carski)'—so bracketing it with Napoleon's legendary visit to the plague-hospital at Jaffa or Nicholas I's to the cholera victims.

And her agreement with a good grace to Arkadi's marrying her sister required, in the circumstances, a certain generosity.

Odintsova is fundamentally an unhappy person, like Pavel Petrovich. Each of them is crippled by an emotional fixation. But whereas Kirsanov's progresses towards a virtually total social disablement (he ends, in effect, by bowing himself off the stage of life)—Odintsova not only succeeds in bringing up,

'Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это всё самолюбие, львиные привычки, Фатство' (VI).

providing for and marrying off her young sister but herself achieves two relatively prosperous marriages, of the second of which Turgenev is driven to admit, however venomously: 'doživutsja, požaluj, do šťast'ja (...) požaluj, do ljubvi.'

Our Act III (chapters XX-XXIV) falls into two halves, with the scene of the first (XX-XXI) laid in Bazarov's home, of the second—once more at the Kirsanovs.' At his home we witness the beginning of Bazarov's breakdown, at Mar'ino—its crisis.

Against the background of his parents' pathetic adoration Bazarov's inability to come to terms with other people, with himself, or with life is thrown into painful relief. He tries to keep his parents at arm's length by joking, but after only forty-eight hours gives up the attempt as too much for him and leaves them. During that time he does his best to pick a quarrel with Arkadi, deliberately exasperating him with paradoxes, with personal insults (which Arkadi lets pass), with mockery of Pushkin, with schoolboy bossiness, and finally with abuse of Pavel Petrovich—til? only the chance appearance of the old doctor prevents a quite serious fight.

But it is Bazarov's attitude to himself and to life which best enables us to measure the shocking changes wrought by Odintsova. He envies his parents their contentment in obscurity when to him life seems hideous and absurd; the prospect of general prosperity in some far future only moves him to hate those who will enjoy it when he is underground; it is impossible to slander any man, for the worst one can say of another will represent only one-twentieth of what he deserves; a proper man is one whom one can only either obey or hate. The word 'hate' keeps recurring. And when Arkadi remarks that he does not hate anyone, Bazarov flings back: 'And I—so many people.' He complains that he can feel only tedium and rancour. His pristine self-respect is in abeyance as he swings between bragging and self-abasement. One moment he is hinting that he is broken, the next—boasting that no mere woman shall break him; one moment he implies that he has yet to meet a man who could stand up to him or hold his own with him, at another he no longer knows (or, apparently, cares) where truth is to be found; or again: honour is no more than a sensation... And we are

soon to see that this sensation has become to him as indeterminate and undependable as in the least heroic of mortals.

Bazarov's second stay at Mar'ino is marked by two climaxes: his kissing of Fenechka and his pistol duel with Pavel Petrovich. Each marks a stage in his continuing decline or disintegration. On his later—his last—visit to Odintsova he was to boast that, although a poor man, he had never yet accepted alms. Yet alms are precisely what we hear him beg of Fenechka: the alms of her pity and affection, if no more. And when she fails to respond, he takes what she would not have given but has not the strength or presence of mind to put out of his reach. This is doubly dishonourable. Fenechka regarded him as a doctor—had in fact at least once taken medicine from him, and even if this did not make her, technically, his patient, still her infant was. This was an abuse of the doctor-patient relationship. Moreover, Bazarov was the guest of Nikolai Kirsanov and was in no doubt as to the relation between Fenechka and his host. In fine, he was violating both professional ethics and the laws of hospitality. And without even the excuse of a great love or overmastering passion: he was at the time passionately in love with another woman, and his approach to Fenechka was not impulsive but calculated and gradual, so that we can only regard the lapse as a symptom of at least temporary moral spinelessness resulting from his maudlin self-pity.

Nothing more was needed to put him in the power of Pavel Petrovich, who at once seized the chance to turn the tables on Bazarov in the most humiliating way. On his first visit Bazarov had not only worsted Kirsanov in argument, but had made him lose his temper and descend to undignified abuse so that he could be taunted with failure to live up to his boasted sense of his own dignity. Now Pavel Petrovich not only forces a fight on Bazarov, but puts him in the position of having to go through a ritual which Bazarov considers absurd: *sc.* he makes him look ridiculous in his own eyes. Not having had the self-control to keep his hands off Fenechka, Bazarov now has not the self-control to face the blow which his breach of honour deserves. He senses that his probable reaction would be a burst of animal fury in which he might well kill his frail, middle-aged opponent. So, after repudiating on his first visit all the 'socially accepted

conventions,' Bazarov is now compelled to eat his own words and bow to a convention of doubtful respectability even outside radical circles. Three chapters earlier Bazarov had been bragging to Arkadi: 'When I meet a man who can stand up to me (...) I will change my estimate of myself.' Now he had encountered a man who was not only standing up to him but making Bazarov dance to his tune. What a come-down!

Having accepted the duel, Bazarov has to accept all the traditional formalities and courtesies that attend it. He assumes for a day the manners of a gentleman—of the class which he so utterly despises. And so helplessly does he abandon himself to the current of events that, when the time comes to shoot, he neither aims to disable his enemy nor aims to spare him but leaves it to mere chance to decide. Here Turgenev lets his hero down lightly, allowing him not to miss Pavel Petrovich (which is what one might have expected from a complete tiro at the game) nor yet to kill him (which would have been too embarrassing all round), but to wound him slightly: which at once restores to Bazarov a part of his advantage by calling into play his medical skills.

And so, in Act IV (chapters XXV-XXVII), Bazarov returns to his father's house—to die (as Insarov had died before him). We may grant that, at the conscious level, it is not suicide. Though he had declared life now senseless and hideous in his sight⁹ and that he now felt nothing but weariness and rancour¹⁰; and though his behaviour at Mar'ino constituted an at least unconscious outrage to his self-respect—the core of his being: yet if he had been asked whether he wanted to live or die, there is no doubt he would have opted for life—and this makes Bazarov's death (unlike that of Prince Andrei in *War and Peace*) a tragedy for him and not only for those who loved and believed in him. As for the unconscious—his four-hour delay in disinfecting the cut tells a different tale: he knew very well the risk he was running, and it is sheerly incredible that he could not have found on the spot some means of cauterization, however crude and painful.

Rudin had gone to meet death. Insarov had been surprised

⁹ Что за безобразие! Что за пустяки! (XXI).

¹⁰ Я чувствую только скуку да злость. (*Ibid.*).

by death. But we only see Rudin and Insarov die: we know nothing of what they thought or felt as the curtain fell. Bazarov faces death in a waiting game, armed with all the clear-sightedness, courage and will-power of his earlier days. He brushes aside his father's comforting illusions, yet has sufficient feeling for his parents' suffering not to forbid the religious rites on which their hearts are set. He measures and economises his strength and keeps it in reserve for the one thing which is still important to him: the chance of a last meeting with Odintsova. With wry humour he tries to console his parents, and with heroic irony recognises that he has met his match in death: 'But just you try to negate death. It negates you, and that's all about it.'¹¹

When Odintsova comes to him, he is his old self, and something more. With a delicacy of which he would hardly have been capable before, he says not that he loves her, but that he had loved her: although it is obvious that all that now matters to him is these few minutes with her. He pays tribute to her generosity of spirit and drinks in her beauty for the last time. Free from self-pity and rancour now, objectively, he looks at himself as he is and recalls how he imagined he would be. 'And didn't I too think: I'm going to get so much done, no question of dying! There's work to do and I'm a giant, aren't I! But now all there is for the giant to do is to die decently, though that's of no interest to anybody'^{11a}. The unassuming stoicism is driven home by the homeliness of the language. This is heroism without heroics. He has earned his good death.

As later in Dostoevsky's novels, in *Fathers and Sons* the protagonist is matched against major aspects of his own personality embodied in some of the other main characters. Bazarov hates himself in Pavel Petrovich and loves himself in Odintsova, as Raskol'nikov will hate himself in Svidrigailov and love himself in Sonya. As in Dostoevsky, the heroes cast themselves for rôles which they are radically unfitted to play.

¹¹ Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста!

^{11a} И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... (XXVII).

What links Bazarov, Odintsova and Pavel Kirsanov even more intimately than their 'misanthropy' and pride is that all three miscast and misconceive themselves.

Odintsova imagines herself in search of love and happiness when in fact she is terrified of both. Perhaps her father had spoiled her for other men; at any rate, she takes care to choose husbands as unlike him as possible. In intelligence and resolution she is Bazarov's peer; but her cool blood forbids her to give herself—whether to a man or to a cause.

In Pavel Petrovich the contradiction between his view of himself and the reality of his life is still more manifest. He sees himself as a bearer of time-hallowed traditions and values—the nobleman's sense of personal honour and sense of duty to his society—while his feud with Bazarov throws into cruel relief the indolence and petulance, the personal vanity and caste prejudices at which Bazarov gleefully rails. Pavel Petrovich sees himself as the tragic victim of a great romantic love; but he is no more able than Bazarov to bar his stricken heart against Fenechka.

But the split between ideal and reality, between self-image and self assumes heroic and fatal dimensions only in Bazarov. There is the contradiction between his professed rejection of all principles and all received ideas and values and his blind acceptance of utility and experience as the criteria respectively of action and thought. There is the contradiction between his professed empiricism and his doctrinaire negation of matters lying outside his own experience: e.g. his negation of art on the basis of his own acknowledged lack of any aesthetic sense. There is the contradiction between his desperate approach to true scepticism, when (in chapter XXI) he cries that not only principle but everything—including his own negativism—stems from individual sensations or inclinations, and his failure to recognise the corollary: that in that case other people's viewpoints and values have as much validity as his own.

No less strident is the contradiction between Bazarov's pride and his anti-individualism. On the one hand, he contends that human individuals are not worth studying, that they are as much alike as trees in a wood, such variations as there are being insignificant. But at the same time he regards himself as a god; as a giant—and accordingly despises the mass of mankind: specif-

ically—women, peasants, poets, philosophers and nobles. This pride was based, of course, not on birth, looks or genius, but on his own strength of character, on his will-power. And the tragedy of Bazarov is the wrecking of this will. As in the tragedies of ancient Greece, pride calls down retribution—*hubris* provokes *nemesis*.

It does so by way of the crucial contradiction between his intellect and his heart. While he presents to the world an appearance of extreme rationalism and toughness, Bazarov is in fact basically emotional. The emotions which predominate on the surface are pride and aggressiveness: both are much in evidence already in the first half of the novel—before his fiasco with Odintsova. After this reverse there emerges a quite romantic vein of self-pity: e.g. in his colloquy with Arkadi, where he contrasts his parents' busy contentment with his own disgust at the littleness of life: to him it stinks, he feels 'only tedium and malice.' The note of self-pity is struck again in his tempting of Fenechka: 'what use is my youth to me? I live alone, without home or kin (...) If only somebody would take pity on me'¹².

That his softer feelings are not entirely egoistic is suggested both by the affection he inspires in children and by the exaggerated anti-sentimentalism of his attitude to his parents. However, too much should not be read into either of these pieces of evidence. Bazarov is a born leader, and children may respond to leadership, up to a point, on a non-sentimental basis. And though there can be no doubt of Bazarov's affection for his parents, we see him ride rough-shod over their feelings and subordinate their desires to his whims without scruple or consideration: he has stayed away from home for three years but leaves again within a couple of days of his arrival because he is bored; he bosses them about and keeps them in constant uncertainty with the tacit threat that he will not stay unless everything is done just as he wants it.

To recognise this soft core of Bazarov's character is to understand in great part why he is crushed by Odintsova's rejection of him. Those who see Bazarov as a superman are driven to

¹² На что мне моя молодость? Живу я один, бобылем... Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился. (XXIII).

seek more recondite explanations. Thus Ovsyaniko-Kulikovsky¹³ argues that Bazarov's love threatened his capacity for spiritual freedom and it was the need to defend this which invested his struggle against his love with such tragic intensity. This seems far-fetched; imagine what Bazarov himself would have had to say to anyone who had served up to him such a 'romantic philosophical abstraction' as spiritual freedom!

Surely the primary cause of Bazarov's misery was that he could not get the woman out of his blood or out of his head. Though perhaps hardly less torturing was the wound to his pride—to his intellectual as well as his moral pride. Not merely that he, Bazarov, had fallen helplessly in love, that he had been rejected, and that he, who set such store by his independence, was independent no longer; but a deadly blow had been dealt to his whole philosophy of personality, and more particularly to his beliefs concerning women and romantic love. We know Bazarov had been a great lover of women and their beauty. But romantic love he had called 'unforgivable silliness', and the proper place for people like Schiller's Ritter Toggenburg and the troubadours was, in his view, a lunatic asylum. 'If you like a woman', he would say, 'do your best to get your way, but if you can't, never mind, turn away—it isn't the end of the world.' But now he had found that it was the end of the world for him!

Granjard¹⁴ tries to establish that in the first half of the novel—up till his failure with Odintsova—Bazarov is essentially a revolutionary, and that only after that does he turn from the politico-social to the universal plane and become a rebel. But how far does such an interpretation carry conviction? Whether Bazarov is a revolutionary before he loses Odintsova is a moot point. It would have to rest on his emphatic declaration to Pavel Petrovich that he repudiates 'everything' (including, by implication, the 'other socially accepted conventions' obscurely referred to in their first dispute). But negation need not imply revolution; and Pisarev, to whom Bazarov seems closest in outlook, was not at that time a revolutionary. True, Turgenev in

¹³ D. N. Ovsyaniko-Kulikovsky, *I. S. Turgenev* (vol. III of *Works*), 1923.

¹⁴ Henri Granjard, *Ivan Tourguénev et les courants politiques et sociaux de son temps*, Paris, 1954 (chap. VIII).

his already cited letter to Sluchevsky has the sentence: 'and if he is called a nihilist, one should read: a revolutionary.' But it has been shown that Turgenev's glosses need to be taken with some caution. One capital difference between Bazarov and the real-life nihilists or revolutionaries of the 1860's is certainly that they were many and active, whereas Bazarov stands alone, and for that very reason (though not, perhaps, only for that reason) is debarred from action. And since we do not see him in action, it is on his character and his ideas that we must judge him.

However, even if, for the sake of argument, we accept Bazarov as a potential revolutionary in the first half of the novel, surely his lamentations about life in the second half do not amount even to an intellectually or morally purposeful protest—let alone rebellion. It would seem truer to say that in the first half of the work Bazarov's pride and aggression have at their command enough energy to make it practical to direct them to practical objectives—they remain orientated towards reality; but once this energy is dissipated (by the shock and pain of losing Odintsova), they can operate only on the more rarefied and frictionless plane of fantasy. From active struggle Bazarov then falls back on diffuse hate and rancour.

His death, if not altogether a suicide, is still less, as he avers, fortuitous. Turgenev tries to explain it as, like Insarov's death, a historical necessity: both heroes had been born before their time. But that is not only too simple—it would make the whole story of Bazarov irrelevant: that is, it would introduce a complete break between his death and the story of his life. If his life is to be made relevant to his death, it must be in terms of our initial thesis: the tragedy of Bazarov is the wrecking of his will and pride: *hubris* calls down *nemesis*.

The first warning note comes in Bazarov's complacent condemnation of Pavel Kirsanov: 'But still I must say that a man who has staked his whole life on a woman's love and, when he loses, wilts and loses heart to the point of becoming good for nothing, such a fellow is not a man, not a male' (chapter VII).

Then love comes to him too: as a foreign body¹⁵, as infect-

¹⁵ Granjard (*op. cit.*, p. 311) uses the term 'foreign body' in reference to this love, but does not develop the image.

ion, against which he finds his own vaunted will powerless: he stoops to solicit Fenechka's pity and steal her kisses; he submits to fighting a duel, against his convictions; he loses his capacity to work; he becomes afraid to remain alone, yet—symbolically—he loses his 'touch' with the people, his ability to understand them and make himself understood. And finally there supervenes that other foreign body, that other infection, which destroys him physically as the first had destroyed him spiritually. He had sought to reduce the relations between men and women to their physical element; but his relation to Odintsova had poisoned his soul: it was left to a more material organism to poison his body.

Pavel Kirsanov smoulders on; Bazarov is snuffed out. Why? Within the limits of the novel Turgenev does not face the question. Does the contrasting outcome reflect the contrast between passive and active spirit? Or is it that 'he whom the gods love dies young', and should we, with Turgenev's final chords of reconciliation in our ears, echo the valediction of a somewhat older poet of love:

Meurs donc! Ta mort est douce et ta tâche est remplie.
Ce que l'homme ici-bas appelle le génie,
C'est le besoin d'aimer; hors de là tout est vain.
Et, puisque tôt ou tard l'amour humain s'oublie,
Il est d'une grande âme et d'un heureux destin
D'expirer comme toi pour un amour divin!¹⁶

Or was Bazarov shattered ultimately not by love but by the gorgon face of truth? The Tolstoyan hero is ready for death when he has seen through illusion to the truth about life; was Bazarov ripe for death because he had seen through illusion to the truth about himself?

Frank Friedeberg Seeley

¹⁶ Alfred de Musset, 'A la Malibran', st. XXVII.

POKUS O STATISTICKÝ VÝKLAD VÝVOJE VĚTY
SOUVĚTÍ V ČESKÉ HISTORICKÉ PRÓZE
Z LET 1685-1758

1. ÚVOD

1.1. Úkol práce; metoda

1.1.1. V předcházejících ročnících «*Annali*» se autor tohoto příspěvku zabýval pořádkem slov v české historické próze z let 1685-1759¹. Přitom zajisté nebylo možno nepovšimnout si toho, že se během tohoto časového úseku dějí v našich textech změny nejen v pořádku slov, ale i v jiných oblastech syntaxe. Při jejich rozboru se však stále zřetelněji ukazovalo, že je nutno přihlížet nejen k jejich specifičnosti, nýbrž i k hojnosti výskytu těchto jevů, aby byl popis a výklad tohoto vývojového období češtiny co nejúplnější a co nejvšestrannější.

1.1.2. V tomto příspěvku se budeme zabývat kvantitativní stránkou vývoje českého jazyka v letech 1685-1758.

S kvantitativním rozbohem jazykového materiálu jsou však spojena různá nebezpečí nesprávného postupu a mylné interpretace výsledků. Tak např. v tomto příspěvku se zabýváme kromě jiného také počtem vět v souvětí a jeho eventuálním vztahem k stáří tisku; přitom nám zcela uniká, zda jde o věty hlavní nebo vedlejší, spojkové nebo vztahné, vložené nebo nevložené, jakou

¹ Klimeš, L.: Pořádek slov v české historické próze z let 1685-1759. In: *Annali dell'Istituto Universitario Orientale. Sezione Slava*. XII, 1969. Red. L. Pacini Savoj a N. Minissi. Napoli, 1969, s. 105-166.

syntaktickou funkci tyto věty mají, zda se některé typy souvětí častěji opakují atd. Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpověď v jednom z příštích příspěvků, který bude věnován také kvalitativní stránce souvětí 2. pol. 17. století a století 18. Při této příležitosti uvedeme rovněž doklady, abychom se vyhnuli dvojímu citování přetížených barokních souvětí. - Došším úskalím by mohl být nesprávný odhad významu a dosahu zjištěných statistických výsledků. Na jedné straně mohou oslnit naprostou přesností, neboť jsou většinou výsledkem práce velmi důmyslných strojů. Na druhé straně dlužno však mít na mysli, že zjištěné výsledky platí v našem případě, kdy nebyl rozbírán reprezentativní vzorek, v plném rozsahu pouze pro zkoumané tisky. (Nespornou výhodou takového postupu ovšem je, že se vyhneme jakémukoli omylu, který by pramenil z nevhodného odhadu vzorku. Viz 1.1.3.) - Konečně třeba uvážit, že v jazyce je málo jevů opravdu náhodných. - Přesto však nelze upřít statistickým metodám nemalý význam pro jazykovědu: méně určité výrazy jako « zřídka, nejednou, často, velmi často » se nahrazují zcela přesnými a srovnatelnými zjištěními, základní charakteristiky souboru (modus, medián, variační rozpětí atp.) nám napomáhají utvořit si představu např. o tom, jak dlouhá věta se v daném tisku vyskytuje nejčastěji, zda se blíží spíše větě nejkratší nebo naopak nejdelší atp., vhodnými testy lze objektivně a nezávisle na osobním zdání vyšetřit, zda se např. dva různě staré texty liší v počtu vět v souvětí, a zda zde tudíž nastal z hlediska kvantitativního významný vývoj atp. Statistické metody zdokonalují tedy při správném výběru a interpretaci výsledků naše poznání jazykové skutečnosti; v tom spatřujeme jejich přínos a důležitost.

1.1.3. Z povahy našeho úkolu vyplynuly pak některé úvahy o postupu, který by vedl k jeho úspěšnému splnění:

1.1.3.1. Aby byly výsledky co nejvěrnější, rozhodli jsme se pro úplný rozbor celých textů. Pouze u dvou kronik byly nutné některé úpravy. Ty však nemohly mít vliv na celkový výsledek; kdybychom je nebyli provedli, byly by bývaly naše závěry poněkud zresleny. Přehled rozbíraných textů je uveden níže (1.2.).

1.1.3.2. Klad, který přináší rozbor ucelených a souvislých textů, je však provázen jednou nevýhodou: takové texty nebývají stejně dlouhé. To se pak nepříjemně projeví při statistickém zpracování zvolených jazykových jevů. Nejde totiž o to, že různá

délka textů znemožňuje rychlé srovnávání a nutí k pracnému přepočítávání na procenta. Větší nesnáze vzniká tehdy, jestliže je rozdíl mezi srovnávanými tisky (v našem případě jde o počet slov, vět a souvětí) statisticky významný, neboť pak má aritmetický průměr funkci pouze orientační: zvyšuje názornost výkladu, ale z hlediska přísně statistického není možné srovnávání takto vypočítaných průměrů. Výrazně delší text dává jeho autoru větší příležitost k pronikavějšímu uplatnění těch jevů, jež by se v kratším tisku mohly vyskytnout sporadicky. Je proto někdy vhodné skoumat raději vzorek stejně dlouhý jako texty kratší, nebo se přesvědčit o tom, zda je zkoumaný jev v delším textu rovnoměrně rozložen, tj. zda jeho existence nesouvisí jen s větší délkou textu.

1.1.3.3. Délka rozbíraných textů se zdá dostatečná. Pouze tisk *Pravdivá zpráva o dobytí královské rezidenci...* (z r. 1687) je příliš krátký. Do této práce jsme jej přesto zařadili, neboť vypráví zhuštěně o týchž událostech, o kterých obsírněji vykládá *Relací aneb pravdivá zpráva* (z r. 1686); tematická příbuznost je zde mimořádně velká a srovnání výhodné. Vyloučili jsme ho však z testu Smirnovova-Kolmogorovova.

1.1.3.4. Pracnost a zdoluhavost podrobného rozboru poměrně rozsáhlého materiálu (43 477 slov ve 4 018 větách) vedla autora tohoto příspěvku k tomu, aby se v kvantitativním rozboru zatím omezil toliko na dva značně důležité ukazatele: na počet slov ve větě a na počet vět v souvětí.

1.1.3.5. Ve vymezení slova pro účely kvantitativního zpracování se shodujeme s pojetím frekvenčního slovníku *Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce*² (s. 22-25). Odchytky jsou dvě: « se », « si » chápeme v těch případech, kdy jde nepochybně o předmět, jako samostatné slovo; v názorech na spřežky se řídíme *Pravidly českého pravopisu* z r. 1958.

Někdy vznikaly rozpaky, zda dané souvětí, zpravidla velmi složité, by nebylo lépe chápat vzhledem k jeho obsahu i formě jako souvětí dvě. O této otázce psala v r. 1966 A. Wierzbicka³

² Jelínek, J. - Bečka, J. V. - Těšitelová, M.: *Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce*. Praha, 1961. 588 s.

³ Wierzbicka, A.: *System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu*. In: *Historia i teoria literatury. Studia, Teoria literatury* 5. Red. K. Górski, W. Kuraszkiewicz a M. R. Mayenowa. Warszawa, 1966, s. 5-278.

a v r. 1969 autor tohoto příspěvku⁴. Zcela uspokojivé a pro všechny případy vhodné řešení se dá těžko nalézt. Omyl, který může špatným výkladem příliš složitého souvětí vzniknout, je však malý, neboť taková souvětí se nevyskytují příliš často; setkávali jsme se s nimi právě v tiscích nejrozsáhlejších (v Zatočilově *Leto- a dennopisu* a v *Diariu*), a proto soudíme, že chyba byla zřejmě pohlcena většinou řešení správných.

1.1.3.6. Obecnou platnost naše závěry mít nemohou. Význam této práce spatřujeme hlavně v tom, že upozorní na některé skutečnosti, které by zasluhovaly hlubšího a širšího založeného rozboru, a na důležitost statisticky orientovaného výzkumu jazykového materiálu pro lepší poznání jazyka určitého období. V tomto směru může přispět i některými podněty metodickými.

1.2. Rozbírané tisky, jejich značky a rozsah

1.2.1 Názvy tisků

Jan Norbert Zatočil z Loewenbrugku: *Leto- a dennopis*, to jest: celého královského Starého a Nového Měst Pražských léta 1648 patnácté neděl dnem nocí trvajících obležení švejdského pravdivé a ubezpečlivé vypsání. V Starém Městě Pražském u Kateřiny Černochové vdovy r. 1685. 89 stran. Značka Z.

Relací aneb pravdivá zpráva o uherském hlavním městě a králův uherských rezidencí Budínu, kterážto v roce 1686 od císařského a jiného křesťanského lidu válečného obležená i také silnou rukou šturmem vzatá a dobytá jest. 12 stran. Značka R.

Pravdivá zpráva o dobytí královské rezidencí a pevnosti Budína v Uhřích. Z Vídně od pátého září 1686. 4 strany. Vyšlo v kalendáři Jana Jakuba Václava Dobřenského na r. 1687. (S pranostikou hvězdářskou nový kalendář podlé napravení Řehoře papeže...) Značka P.

Historický vejťah z celoročních novin, co se od měsíce srpna léta 1737 až zase do měsíce září 1738 v rozličných zemích světa paměti hodného stalo. 13 stran. Otištěno ve Fišerově kalendáři na r. 1739. (Nový hospodářský a kancelářský kalendář... Pod jménem Abrahama Fišera od jednoho umění hvězdářského ob-

⁴ Klimeš, L.: K výzkumu vývoje českého jazyka v letech 1620-1770. «Listy filologické», 92, 1969: 165-168.

zvláštního milovníka... sepsaný, spolu s praktikou a potřebnými věcmi na rok MDCCXXXIX. Vytisknutý v Starém Městě Pražském u Karla Františka Rosenmüllera.) Značka H₁.

Historický vejťah z celoročních novin, co se od měsíce srpna léta 1738 až zase do měsíce září 1739 v rozličných zemích světa paměti hodného stalo; což rok od roku dáleji následovati bude. 13 stran. Otištěno ve Fišerově kalendáři na r. 1740. (Viz výše H₁.) Značka H₄.

Diarium, to jest každodenní poznamenání toho, co se skrze trvající nepřátelské pružské královského hlavního města Prahy obležení v roce 1757... přihodilo. Vytisknutý v Praze. 40 s. Značka D.

Historický vejťah z celoročních novin, co se od měsíce září léta 1756 až do měsíce srpna 1757... stalo. Otištěno ve Fišerově kalendáři na rok Páně 1758... pod jménem Abrahama Fišera od jednoho umění hvězdářského obzvláštního milovníka... sepsaný, spolu s praktikou a některými hospodářskými věcmi. Vytisknutý v královském Starém Městě pražském u Františka Hynka Kyrchnera, královského dvorského impresora.) 12 stran. Značka H₅.

1.2.2. Značky tisků

Značka	Zkrácený název tisku	Rok vydání
D	Diarium	1757
H ₁	Historický vejťah	1739
H ₄	Historický vejťah	1740
H ₅	Historický vejťah	1758
P	Pravdivá zpráva	1687
R	Relací aneb pravdivá zpráva	1686
Z	Leto- a dennopis	1685

TABULKA 1

1.2.3. Rozsah tisků

Jak jsme se již zmínili, snažili jsme se o to, aby byly všechny tisky rozebrány úplně, aby nebylo nic vynecháno. Přesto však bylo třeba provést v zájmu stejnorodosti výsledků některé menší úpravy:

Ze Zatočilova *Leto- a dennopisu* jsme do rozboru nepojali tyto úseky: překlad předmluvy k uděleným privilegiím «Když jest - posloužili» (nestránkovaný úvod, 2 stránky a 4 řádky);

s. 13, 4. ř. shora « Pochtivým » - s. 16, 6. ř. zdola D. Pachta (překlad Ferdinandova latinského dopisu); s. 68, 8. ř. « Moji milí » - s. 69, 4. ř. shora « odepřítí neráci » (doslovný citát Martinicovy řeči); s. 69, 12. ř. shora « Po kterémžto » - s. 89 (až do konce kroniky). Tento závěrečný úsek už nejedná o vojenských operacích v r. 1648, nýbrž obsahuje různá těžkopádně formulovaná privilegia, dlouhé seznamy měšťanů, kteří bojovali proti Švédům, právníké výklady, zmínky o koupi a prodeji statků atp.; historické poznámky jsou omezeny na minimum. Stylisticky se výrazně liší od předcházejících kapitol kroniky, místy je špatně srozumitelný. Zde totiž přestal vyprávět Zatočil-kronikář a voják a začal psát Zatočil-staroměstský kancléř. Zařazení tohoto různorodého úseku do rozboru by bylo přineslo více škody než užítu, neboť by bylo výsledky zkreslilo.

Z tisku H_4 jsme vypustili ze s. 12 a 13 kapitolu nazvanou « Skrze ten rok při výsoce knížecích dvořích následující proměna se stala » (1 1/2 stránky) pro přílišnou tematickou odlehlost.

V tisku D se týká obležení Prahy Prusy pouze prvních 28 stran. Tento úsek jsme rozebrali celý.

Počet slov, vět a souvětí v rozebraných tiscích udává tato tabulka:

Rozsah tisků

Tisk	Počet slov	Počet vět	Počet souvětí
Z	12.642	1.082	166
R	4.218	497	103
P	1.691	169	35
H_1	6.549	703	127
H_4	5.026	499	113
D	7.642	606	162
H_3	5.709	462	103
Úhrnem	43.477	4.018	809

TABULKA 2

1.3. Značky vyskytující se ve statistickém rozboru

$d_{0,01}$, $d_{0,05}$ = tabulkové kritérium pro hladinu významnosti 0,01 nebo 0,05;

d_{\max} = vypočtené testovací kritérium;

μ = aritmetický průměr;

Me = medián (tj. hodnota znaku uprostřed souboru);

Mo = modus (tj. nejčastěji se vyskytující hodnota znaku);

V = variační rozpětí (tj. rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou znaku);

x_{\max} = největší hodnota znaku v souboru;

x_{\min} = nejmenší hodnota znaku v souboru;

\bar{x} = aritmetický průměr;

0 = vyjadřuje, že nulovou hypotézu nemůžeme zamítnout, rozdíly jsou statisticky nevýznamné;

1 = vyjadřuje, že nulovou hypotézu zamítáme, rozdíly jsou statisticky významné;

Σ = označuje součet, např. $\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

1.4. Poznámka

1.4.1. Zatočilův Leto- a dennopis rozebrala ve své diplomové práci podle návodu autora tohoto příspěvku a za jeho vedení sl. Jana Šmídlová, učitelka základní devítileté školy. Některých výsledků jejího spolehlivého rozboru bylo možno užít i zde.

1.4.2. Výpočty souvisící s testem Smirnovovým-Kolmogorovovým provedlo výpočetní středisko lékařské fakulty Karlovy university v Praze se sídlem v Plzni. Jeho pracovníku, inž. Holubovi, děkuji za nevšední ochotu, s jakou mi vycházel vstříc. - Za pomoc při výpočtech vděčím též svému otci J. Klimešovi.

1.4.3. Práce byla ukončena 23. července 1970. Dne 8. ledna 1971 byla prodiskutována v oddělení matematiké lingvistiky ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze.

2. POČET SLOV VE VĚTĚ

2.1. Absolutní a relativní počet slov ve větě

O tom, kolik se v daném tisku vyskytuje vět, které mají 1,2,3...n slov, nás informuje následující tabulka. V sloupci A jsou zaznamenána absolutní čísla, v sloupci označeném znaménkem % je obsaženo procentuální zastoupení; n = počet slov ve větě, jejíž procentuální zastoupení zjišťujeme.

Absolutní a relativní počet slov ve větě

n	Z		R		P		H ₁		H ₂		D		H ₃	
	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%
1	1	0,09	—	—	1	0,59	2	0,28	—	—	—	—	1	0,22
2	22	2,03	7	1,41	—	—	8	1,14	—	—	6	0,99	3	0,65
3	63	5,82	27	5,43	9	5,34	14	1,99	28	5,61	24	3,96	8	1,73
4	92	8,50	48	9,66	14	8,28	55	7,82	38	7,61	34	5,61	18	3,89
5	76	7,02	59	11,87	22	13,02	77	10,95	31	6,21	33	5,44	23	4,98
6	104	9,61	61	12,27	15	8,86	85	12,09	48	9,62	48	7,92	39	8,44
7	92	8,50	55	11,07	12	7,10	79	11,23	54	10,82	39	6,43	28	6,06
8	67	6,19	51	10,26	13	7,69	63	8,96	51	10,22	44	7,26	35	7,58
9	54	4,99	42	8,45	9	5,36	55	7,82	40	8,00	39	6,43	45	9,74
10	54	4,99	24	4,83	11	6,51	45	6,40	39	7,82	41	6,77	35	7,58
11	59	5,45	20	4,02	8	4,73	38	5,41	34	6,81	35	5,76	31	6,70
12	52	4,81	29	5,84	4	2,37	39	5,55	29	5,81	40	6,60	28	6,06
13	41	3,78	12	2,41	11	6,51	28	3,98	18	1,60	30	4,95	20	4,93
14	32	2,95	15	3,00	7	4,14	17	2,42	19	3,81	20	3,30	16	3,46
15	26	2,40	11	2,21	4	2,37	28	3,98	15	3,00	17	2,81	21	4,55
16	23	2,12	8	0,62	7	4,14	19	2,07	13	2,06	18	2,97	14	3,03
17	28	2,58	5	1,01	5	2,96	5	0,71	8	1,60	27	4,46	15	3,25
18	27	2,49	2	0,40	2	1,18	5	0,71	5	1,00	13	2,15	16	3,46
19	15	1,38	1	0,20	4	2,37	6	0,85	7	1,40	11	1,82	9	1,95
20	11	1,01	7	1,41	3	1,78	4	0,57	2	0,40	8	1,32	8	1,73
21	10	0,92	5	1,01	1	0,59	6	0,85	5	1,00	8	1,32	6	1,29
22	13	1,20	—	—	1	0,59	5	0,71	—	—	6	0,99	6	1,29
23	16	1,47	—	—	1	0,59	3	0,43	3	0,60	3	0,49	6	1,29
24	12	1,11	1	0,20	1	0,59	2	0,28	3	0,60	8	1,32	1	0,22
25	10	0,92	1	0,20	—	—	5	0,71	5	1,00	6	0,99	3	0,64
26	10	0,92	1	0,20	1	0,59	2	0,28	1	0,20	2	0,33	3	0,64
27	12	1,11	2	0,40	—	—	2	0,28	2	0,40	3	0,49	3	0,64
28	11	1,01	—	—	1	0,59	1	0,14	1	0,20	3	0,49	—	—
29	3	0,27	1	0,20	—	—	—	—	2	0,40	5	0,83	1	0,22
30	3	0,27	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,33	1	0,22
31	3	0,27	—	—	—	—	1	0,14	1	0,20	4	0,61	1	0,22
32	2	0,18	—	—	—	—	2	0,28	1	0,20	3	0,49	2	0,43
33	6	0,55	1	0,20	—	—	—	—	—	—	3	0,49	1	0,22
34	1	0,09	—	—	2	1,18	—	—	—	—	1	0,17	2	0,43

TABULKA 3

n	Z		R		P		H ₁		H ₂		D		H ₃	
	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%
35	4	0,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,22
36	2	0,18	—	—	—	—	—	—	—	2	0,33	1	0,22	
37	1	0,09	—	—	—	—	—	—	2	0,40	2	0,33	2	0,43
38	2	0,18	—	—	—	—	—	—	1	0,20	2	0,33	2	0,43
39	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,33	1	0,22
40	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0,66	2	0,43
41	1	0,09	—	—	—	—	1	0,14	—	—	2	0,33	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,20	1	0,17	1	0,22
43	1	0,09	—	—	—	—	1	0,14	—	—	1	0,17	—	—
44	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,22
45	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,17	—	—
46	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0,33	—	—
47	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	2	0,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	3	0,27	—	—	—	—	—	—	—	1	0,17	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	1	0,09	—	—	—	—	—	—	1	0,20	1	0,17	—	—
52	2	0,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	1	0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,22
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,20	—	—	—	—
62	2	0,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,22
79	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	1	0,09	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0,17	—	—

TABULKA 3

U dvou nejrozsáhlejších tisků (Z, D) jsme znázornili procentuální zastoupení vět o n slovech i graficky. (Viz graf č. 1.) Z technických důvodů bylo nutno zastavit se u hodnoty $n = 28$. Omezení informací takto vzniklé je nepatrné a lze je kompenzovat tabulkou č. 3.

Pro lepší orientaci v tabulce 3 jsme sestavili přehled (tab. 4), který nás informuje o tom, jak dlouhé věty obsadily prvních deset míst. Čísla pod značkou tisku znamenají počet slov ve větě; \bar{x} je aritmetický průměr z prvních pěti míst. V tiscích ze 17. stol. je tototo x menší než v tiscích z 18. stol.

Pořadí nejčastěji se vyskytujících vět

Pořadí	Tisk						
	Z	R	P	H ₁	H ₄	D	H ₅
1	6	6	5	6	7	6	9
2	7	5	6	7	8	8	6
3	4	7	4	5	6	10	8; 10
4	5	8	8	8	9	12	
5	8	4	7	10			11
6	3	9	10	4; 9	4	7; 9	
7	11	12	13	10	11	11	7; 12
8		3	9	12	5	4	5
9	9; 10	10	3	11	12	5	15
10	12	11	11	13; 15	3	13	13
\bar{x}	5,92	6,01	5,84	7,11	7,00	8,69	8,70

TABULKA 4

Nejčastěji se tedy vyskytují věty o 6 slovech (tisky Z, R, H₁, D). V tisku P jsou na prvním místě věty o 5 slovech, v H₄ o 7, v H₅ o 9 slovech. Procentuální zastoupení těchto nejčastěji se vyskytujících vět se pohybuje od 7,92% do 13,02%.

Tabulku č. 3 je možno upravit také tak, že z procentuálních zastoupení utvoříme sestupnou řadu a pak postupně vytváříme pro každý tisk tyto součty: 1. místo (tj. nejčastěji se vyskytující věty) + 0; 1. místo + 2. místo; 1. místo + 2. místo + 3. místo atd. Tak vzniknou kumulativní četnosti. V následující tabulce je posledním místem 10. místo; jeho připočtením byla všude překročena hranice významnosti 59,75% (test χ^2). V prvním sloupci (x_i) je zaznamenáno procentuální zastoupení vět, jež jsou v daném tisku na 1., 2... 10. místě, v druhém sloupci jsou kumula-

tivní četnosti. Z technických důvodů jej označujeme pouze $\sum_{i=1}^n$ místo náležitého $\sum_{i=1}^n x_i$, $n = 1, 2 \dots 10$.

Kumulativní četnosti procentuálního zastoupení prvních 10 vět

Pořadí	Tisk							
	Z		R		P		H ₁	
	x_i	Σ	x_i	Σ	x_i	Σ	x_i	Σ
1	9,61	9,61	12,27	12,27	13,02	13,02	12,09	12,09
2	8,50	18,11	11,87	24,14	8,86	21,88	11,23	23,32
3	8,50	26,61	11,07	35,21	8,28	30,16	10,95	34,27
4	7,02	33,63	10,26	45,47	7,69	37,85	8,96	43,23
5	6,19	39,82	9,66	55,13	7,10	44,95	7,82	51,05
6	5,82	45,64	8,45	63,58	6,51	51,46	7,82	58,87
7	5,45	51,09	5,84	69,42	6,51	59,97	6,40	65,27
8	4,99	56,08	5,43	74,85	5,36	63,33	5,55	70,82
9	4,99	61,07	4,83	79,68	5,34	68,67	5,41	76,23
10	4,81	65,88	4,02	83,70	4,73	73,40	3,98	80,21

TABULKA 5

Pořadí	Tisk					
	H ₄		D		H ₅	
	x_i	Σ	x_i	Σ	x_i	Σ
1	10,82	10,82	7,92	7,92	9,74	9,74
2	10,22	21,04	7,26	15,18	8,44	18,18
3	9,62	30,66	6,77	21,95	7,58	25,76
4	8,00	38,66	6,60	28,55	7,58	33,34
5	7,82	46,48	6,43	34,98	6,70	40,04
6	7,61	54,09	6,43	41,41	6,06	46,10
7	6,81	60,90	5,76	47,17	6,06	52,16
8	6,21	67,11	5,61	52,78	4,98	57,14
9	5,81	72,92	5,44	58,22	4,55	61,64
10	5,61	78,53	4,95	63,17	4,33	65,97

TABULKA 5

Z této tabulky můžeme např. vyčíst, že prvních 5 míst zaujímá všude více než třetina všech vět, v tiscích R a H₁ dokonce víc než polovina.

S pomocí tabulky 4 zjistíme, že např. v tisku Z zaujímají věty mající 4-8 slov 39,82% všech vět, v P 37,85% a v R dokonce 55,13%. V H₄ má 46,48% vět délku 6-10 slov, v tisku H₅ zaujímají věty mající 6 slov a 8-11 slov 40,04% všech vět atp. Z obou tabulek tedy vyplývá, že v každém tisku zřetelně převažují věty poměrně krátké (přesné údaje lze vyčíst z tabulek). V mladších tiscích (1739-1758) se dostávají na přední místa věty o několik slov delší než v tiscích starších (1685-1687).

2.2. Základní charakteristiky souborů

Tisk	Počet slov ve větě					
	μ	x_{min}	x_{max}	V	Me	Mo
Z	11,68	1	96	95	9	6
R	8,48	2	56	54	7	6
P	10,01	1	34	33	9	5
H ₁	9,32	1	43	42	8	6
H ₄	10,07	3	60	57	9	7
D	12,61	2	93	91	11	6
H ₅	12,35	1	64	63	11	9
S ₁	10,61	1	96	95	9	6
S ₂	10,98	1	93	92	9	6
S ₃	10,83	1	96	95	9	6

TABULKA 6

S₁ = sloučený soubor tisků Z, R, P; S₂ = sloučený soubor tisků H₁, H₄, D, H₅; S = sloučený soubor všech sedmi tisků.

Význam značek viz výše (1.3.).

Z tabulky vyplývají tyto poznatky:

1. Průměrná délka věty se v našich tiscích pohybuje od 8, 48 slova do 12, 61 slova.

2. Nejmladší tisky (H₅, D) mají největší průměrnou délku věty. Nejkratší věty nalézáme v tisku R, tedy v kronice, která

patří do skupiny starších tisků (Z, R, P). Avšak ostatní tisky této skupiny (Z, P) mají průměrnou délku věty větší než H₁, popř. i H₄ (tisk Z). Nejmladší tisky mají tedy průměrně nejvíce slov ve větě; nemůžeme však tvrdit, že by se v tiscích nejstarších naopak vyskytovaly vždy věty kratší.

3. Jsme si vědomi toho, že aritmetický průměr má z hlediska statistického průkaznost pouze v těch případech, jestliže mezi počtem členů srovnávaných souborů není statisticky významný rozdíl a jestliže rozložení četností je jednovrcholové. Tyto podmínky nejsou však splněny nikde (viz tab. 3). Proto pokládáme za spolehlivější charakteristiku medián. Statisticky významné rozdíly jsou pouze mediány tisků R a D, H₅, neboť $\chi^2 = 4,94 > 3,84$. To znamená, že se s výjimkou tisku R ve srovnání s tisky D, H₅ rozbírané tisky statisticky neliší, pokud se týká počtu slov ve větě, která stojí uprostřed mezi nejkratší a nejdelší větou, seřadíme-li věty podle velikosti, tj. podle počtu slov. Délka této věty je 8-11 slov. Jinými slovy řečeno, s výjimkou vztahu R-D, R-H₅ je ve všech tiscích alespoň polovina vět nepřesahujících délku 8-11 slov.

4. Variační rozpětí je dost veliké. To svědčí o značném rozdílu mezi extrémními hodnotami; v našem případě je zřejmé, že se tyto rozdíly projevují pouze u x_{max} ($96 - 34 = 62$). Není nezajímavé, že největší rozdíl v extrémních délkách vět je mezi Z a P (62), nejmenší mezi Z a D (3).

5. Pro všechny tisky platí, že $Mo < Me < \mu$. Rozložení četností je tedy všude levostranně asymetrické. To znamená, že ve všech tiscích je více než polovina vět, které mají méně slov, než má průměrná věta v daném tisku, a že se v něm nejčastěji vyskytují věty, které jsou kratší než $\bar{\mu}$ i Me. Jinými slovy řečeno, příliš dlouhé věty se nevyskytují často, nejsou pro naše tisky charakteristické. (Pro $\bar{\mu}$ platí výhrada uvedená výše v bodu 3.)

6. Charakteristika sloučených souborů S₁ a S₂ zřetelně dokazuje, jak malé jsou rozdíly mezi tisky z let 1685-1687 a 1739-1758. Věrohodnost výsledků poněkud trpí nestejností intervalů: v první skupině je časové rozmezí 3 roky, kdežto ve druhé 19 let.

Poznámka. Otázkou, zda je nějaký vztah mezi délkou věty (tj. množstvím jejích slov) a počtem vět v souvětí (tj. zda jsou věty ve vícevětých souvětích kratší), jsme se zde nezabývali.

2.3. Smirnovův-Kolmogorovův test

2.3.1. Dosavadní postup umožňoval zjistit některé důležité shody a rozdíly mezi našimi tisky. Ukazuje se však, že by bylo vhodné ještě vyšetřit, do jaké míry se naše tisky v některých ukazatelích (v tomto případě v délce věty) shodují nebo liší jakožto statistické soubory, jakožto celky.

Vzhledem k tomu, že četnosti nejsou rozloženy rovnoměrně a že mezi dvojicemi vzniklými při srovnávání není zřejmě vnitřní vztah, rozhodli jsme se použít testu Smirnovova-Kolmogorovova. Poněvadž ale absolutní hodnoty závisí kromě jiného i na délce textu a poněvadž rozdíly mezi délkou textu jsou nejednou značné, pokládali jsme za vhodnější zjišťovat rozdíly mezi procentuálním zastoupením vět, jež mají 1, 2, 3... n slov.

Tisk P jsme pro příliš malý rozsah do tohoto testu nezařadili.

Testování rozdílů jsme prováděli vždy dvakrát. První test (viz tabulku 7) srovnává úplné soubory, druhý test (viz tabulku 8) zkrácené soubory, tj. jejichž oba členy nebo alespoň jeden není menší než 1%. Snažili jsme se totiž nalézt odpověď na otázku, zda na významnost rozdílů má nějaký vliv přítomnost takových hodnot, které jsou nízké (menší než 1%) a přitom poměrně početné.

Smirnovův-Kolmogorovův test úplný soubor)

Srovnávané soubory	Významnost rozdílů na hladině významnosti				
	0,05	0,01	d_{max}	$d_{0,05}$	$d_{0,01}$
Z R	1	1	0,18	0,07	0,09
Z H_1	1	1	0,13	0,07	0,08
Z H_4	1	1	0,10	0,07	0,09
Z D	1	1	0,16	0,08	0,09
Z H_5	1	1	0,11	0,07	0,08
R H_1	0	0	0,06	0,07	0,09
R H_4	1	1	0,11	0,08	0,09
R D	1	1	0,26	0,08	0,10
R H_5	1	1	0,24	0,08	0,10
H_1 H_4	0	0	0,06	0,08	0,10
H_1 D	1	1	0,18	0,07	0,08
H_1 H_5	1	1	0,21	0,08	0,10
H_4 D	1	1	0,14	0,07	0,09
H_4 H_5	1	1	0,16	0,09	0,11
D H_5	0	0	0,05	0,08	0,10

TABULKA 7

Testovali jsme hypotézu, že v procentuálním zastoupení četností vět majících 1 až n slov není mezi údaji týkajícími se tisků, jež jsou uvedeny v prvním sloupci tabulky 7, resp. 8, statisticky významný rozdíl.

Význam značek je vyložen výše (1.3). Tyto značky vyjadřují odpověď na otázku, zda testovanou hypotézu (H_0) nemůžeme zamítnout (0), nebo zda ji zamítáme (1).

Smirnovův-Kolmogorovův test (zkrácený soubor)

Srovnávané soubory	Významnost rozdílů na hladině významnosti				
	0,05	0,01	d_{max}	$d_{0,05}$	$d_{0,01}$
Z R	1	1	0,16	0,07	0,09
Z H_1	1	1	0,10	0,07	0,08
Z H_4	1	0	0,08	0,07	0,09
Z D	1	1	0,11	0,07	0,09
Z H_5	1	1	0,16	0,08	0,09
R H_1	0	0	0,07	0,08	0,10
R H_4	1	1	0,12	0,09	0,10
R D	1	1	0,23	0,08	0,10
R H_5	1	1	0,27	0,09	0,11
H_1 H_4	0	0	0,05	0,08	0,10
H_1 D	1	1	0,15	0,08	0,09
H_1 H_5	1	1	0,20	0,08	0,10
H_4 D	1	1	0,13	0,08	0,10
H_4 H_5	1	1	0,16	0,09	0,11
D H_5	0	0	0,05	0,09	0,11

TABULKA 8

2.3.2. Výsledky rozboru

Významně se liší Z od všech ostatních tisků, R od H_4 , D, H_5 , tisk H_1 od D, H_5 , tisk H_4 od D, H_5 .

Významně se neliší R od H_1 , tisk H_1 od H_4 , tisk D od H_5 . Uvedené výsledky platí pro úplné soubory (tab. 7) i pro sou-

bory zkrácené (tab. 8). Hladina významnosti je všude 0,05 i 0,01 s výjimkou testu pro zkrácené soubory Z, H_4 , kde se podařilo prokázat významnost rozdílů pouze na hladině významnosti 0,05.

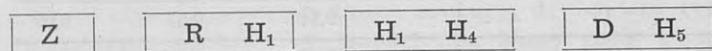
Tisky z let 1685 a 1686 (tj. Z, R) se tedy významně liší od tisků z let 1757 a 1758 (tj. D, H_5). Od tisků z let 1739 a 1740 (tj. H_1 , H_4) se významně liší Z a částečně R (tj. pouze od H_4). Připomínáme, že d_{\max} pro soubory R, $H_1 = 0,06$ je blízké kritické hodnotě $d_{0,05} = 0,07$.

Tisky z let 1739 a 1740 se významně liší od tisků z let 1757 a 1758.

Tisky z let 1739 a 1740 (tj. H_1 , H_4) se vzájemně statisticky neliší; podobně je tomu u tisků z let 1757 a 1758 (tj. D, H_5).

Rozdíly mezi Z a R jsou statisticky významné. Pozoruhodné je, že R je statisticky blíže tisku H_1 než Z.

Schematicky bychom mohli uvedené vztahy vyjádřit takto:



Tisky uvnitř téhož obdélníku se statisticky neliší. Významnost rozdílů je znázorněna mezerami mezi obdélníky; pro H_1 (mezi druhým a třetím obdélníkem) je její platnost zrušena čárkovanou čarou.

Výsledky Smirnovova-Kolmogorovova testu lze shrnout takto:

Tisky z 18. století vydané během 2 let se statisticky neliší. Avšak mezi dvěma skupinami tisků z 18. století, mezi jejichž dobou vydání je rozdíl 17 let, jsou už rozdíly statisticky významné.

Tisk R tvoří jakýsi spojovací, přechodový článek: liší se od Z i H_4 a ovšem i od D, H_5 , ale neliší se od H_1 .

Tisk Z je zcela izolován, liší se od všech tisků.

3. POČET VĚT V SOUVĚTÍ

3.1. Absolutní a relativní počet vět v souvětí

O tom, kolik se v daném tisku vyskytuje souvětí o 2, 3, 4... n větách, si lze utvořit představu z následující tabulky (č. 9). A = absolutní čísla, % procentuální zastoupení, n = počet vět v souvětí.

Z tabulky lze např. vyčíst, že souvětí skládající se z 2 až 5 vět všude převládají (61,14% až 90,73%); výjimku tvoří pouze tisk Z, kde na ně připadá jen 47,64%; ve třech tiscích (R, D, H_5) má více než 50% všech souvětí dvě nebo tři věty.

Pro lepší orientaci v tabulce 9 jsme sestavili přehled, z něhož vyplývá, kolikavětá souvětí obsadila prvních 6 míst. (Tabulka 10). Čísla pod značkou tisku znamenají počet vět v souvětí; x je aritmetický průměr z prvních pěti míst.

Prvních 6 míst obsadila tedy ve všech tiscích kromě H_5 a P souvětí mající 2 až 7 vět. Tato souvětí tvoří 80,04% až 99,37% všech souvětí daného tisku. Výjimkou je Z; zde na ně připadá jen 68,72%. Viz i tab. 11.

Ve skupině tisků z 2. poloviny 17. století se nejčastěji vyskytují souvětí mající 3 věty s výjimkou tisku Z; zde jsou na prvním místě souvětí o 5 větách. V tiscích z 18. století jsou nejčastější souvětí o 2 větách mimo H_1 ; v tomto tisku převládají souvětí čtyřvětá.

Tabulku č. 9 lze upravit také tak (tabulka 11), že vytvoříme kumulativní četnosti. (Viz výše na s. 00.) Šesté místo jsme volili jako krajní mez proto, aby byla všude překročena hranice významnosti.

Na první tři místa připadá tedy s výjimkou Z a H_1 61,16% až 81,47% všech souvětí, na prvních 5 míst s výjimkou Z 71,38% až 97,52%, tedy většina souvětí, popř. prakticky všechna.

3.2. Základní charakteristiky souborů

Vysvětlivky viz výše (1.3) a pod tabulkou 6.

Z tabulky č. 12 vyplývají tyto poznatky:

1. Průměrný počet vět v souvětí se pohybuje mezi 3,39 a 6,50 vět.

Absolutní a relativní počet vět v souvětí

n	Tisk													
	Z		R		P		H ₁		H ₂		D		H ₃	
	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%	A	%
2	21	12,71	25	24,27	3	8,57	19	14,96	29	25,66	54	33,33	35	33,98
3	16	9,64	27	26,21	9	25,71	20	15,75	18	15,93	45	27,77	20	19,42
4	19	11,44	9	8,74	7	20,00	21	16,54	26	23,00	33	20,37	13	12,62
5	23	13,85	10	9,71	7	20,00	17	13,89	16	14,16	15	9,26	7	6,79
6	18	10,84	11	10,68	5	14,29	11	8,66	7	6,19	11	6,79	6	5,83
7	17	10,24	5	4,85	1	2,86	13	10,24	6	5,30	3	1,85	9	8,74
8	15	9,03	4	3,88	—	—	9	7,09	4	3,54	—	—	6	5,83
9	10	6,02	2	1,94	2	5,71	6	4,92	2	1,77	—	—	3	2,91
10	4	2,41	5	4,85	—	—	1	0,79	2	1,77	—	—	1	0,97
11	5	3,01	3	2,91	1	2,86	2	1,57	1	0,88	—	—	—	—
12	5	3,01	—	—	—	—	3	2,36	—	—	1	0,62	2	1,94
13	4	2,41	2	1,94	—	—	2	1,57	1	0,88	—	—	1	0,97
14	4	2,41	—	—	—	—	—	—	1	0,88	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	1	0,79	—	—	—	—	—
16	1	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	1	0,60	—	—	—	—	1	0,79	—	—	—	—	—	—
18	2	1,20	—	—	—	—	1	0,79	—	—	—	—	—	—
29	1	0,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABULKA 9

Pořadí nejčastěji se vyskytujících souvětí.

Pořadí	Tisk						
	Z	R	P	H ₁	H ₂	D	H ₃
1	5	3	3	4	2	2	2
2	2	2	4	3	4	3	3
3	4	6	5	2	3	4	4
4	6	5	6	5	5	5	7
5	7	4	2	7	6	6	5
6	3	7	9	6	7	7	6,8
\bar{x}	4,03	3,65	4,37	4,24	3,72	3,27	3,62

TABULKA 10

Kumulativní četnosti procentuálního zastoupení prvních 6 souvětí

Pořadí	Tisk							
	Z		R		P		H ₁	
	x ₁	Σ	x ₁	Σ	x ₁	Σ	x ₁	Σ
1	13,85	13,85	26,21	26,21	25,71	25,71	16,54	16,54
2	12,71	26,56	24,27	50,48	20,00	45,71	15,75	32,29
3	11,44	38,00	10,68	61,16	20,00	65,71	14,96	47,25
4	10,84	48,84	9,71	70,87	14,29	80,00	13,89	61,14
5	10,24	59,08	8,74	79,61	8,57	88,57	10,24	71,38
6	9,64	68,72	4,85	84,46	5,71	94,28	8,66	80,04

TABULKA 11

Pořadí	Tisk					
	H ₁		D		H ₃	
	x ₁	Σ	x ₁	Σ	x ₁	Σ
1	25,66	25,66	33,33	33,33	33,98	33,98
2	23,00	48,66	27,77	61,10	19,42	53,40
3	15,93	64,59	20,37	81,47	12,62	66,02
4	14,16	78,75	9,26	90,73	8,74	74,76
5	6,19	84,94	6,79	97,52	6,79	81,55
6	5,30	90,24	1,85	99,37	5,83	87,38

TABULKA 11

Počet vět v souvětí-základní charakteristiky souborů

Tisk	μ	x_{min}	x_{max}	V	Me	Mo
Z	6,50	2	29	27	6	5
R	4,63	2	13	11	3,5	3
P	4,62	2	11	9	4	3
H ₁	5,47	2	18	16	5	4
H ₄	4,32	2	14	12	4	2
D	3,39	2	12	10	3	2
H ₅	4,25	2	13	11	3	2
S ₁	5,65	2	29	27	5	3
S ₂	4,29	2	18	16	3	2
S	4,81	2	29	27	4	2

TABULKA 12

2. Nejmladší tisky (D, H₅) mají v průměru nejméně početná souvětí; nejvíce vět v souvětí se vyskytuje v Z. Sklon ke zjednodušení souvětí v mladších tiscích dosvědčuje také Me a Mo. (K aritmetickému průměru viz připomínku výše v bodě 2.2.3.)

3. Variační rozpětí je značné, především v Z a H₁. Uvážíme-li, že x_{min} je všude stejné, tj. 2 věty, pak to znamená, že se zejména v těchto tiscích vyskytují extrémně početná souvětí. O jejich počtu nelze ovšem říci nic, přihlížíme-li pouze k hodnotě V. Rozdíly mezi minimálními hodnotami nejsou; to je přirozené, neboť v každém tisku se vyskytují souvětí o 2 větách. Zato rozdíly mezi největšími hodnotami (x_{max}) jsou veliké: $29 - 11 = 18$. To znamená, že se rozdíly mezi našimi tisky projevují výrazně i v množství vět nejpočetnějších souvětí. Nejnápadnější rozdíly jsou opět mezi Z a P, jako tomu bylo při srovnávání rozdílů mezi nejdelšími větami.

4. Pro všechny tisky platí, že $Mo < Me < \bar{\mu}$. (S tímž vztahem jsme se setkali při zkoumání délky vět). To znamená, že se v každém tisku vyskytují nejčastěji taková souvětí, jež mají menší počet vět než aritmetický průměr a medián; přetížená souvětí nejsou příliš častá. Viz též výklad v 2.2.5.

5. Ze sloučených souborů S₁, S₂ a jejich charakteristiky vyplývá, že skupina tisků z 18. století má sklon k méně početným

souvětím. Rozdíly mezi aritmetickými průměry jsou statisticky nevýznamné, neboť $\chi^2 = 1,88 < 3,84$; aritmetické průměry třeba však přijímat s výhradami uvedenými výše v 2.2.3.

3.3. Smirnovův-Kolmogorovův test

3.3.1. O jeho užití platí totéž, co bylo již výše (2.3.) řečeno při zkoumání délky věty.

Testujeme hypotézu, že v procentuálním zastoupení četností souvětí majících 2 až n vět není mezi údaji týkajícími se tisků uvedených v prvním sloupci tabulky č. 13 statisticky významný rozdíl.

Výsledky testu jsou patrné z následující tabulky. O významu značek viz výše v 1.3. Tyto značky vyjadřují odpověď na otázku, zda testovanou hypotézu (H₀) nemůžeme zamítnout (0), nebo zda ji zamítáme (1).

Srovnávané soubory	Významnost rozdílů na hladině významnosti				
	0,05	0,01	d_{max}	$d_{0,05}$	$d_{0,01}$
Z R	1	1	0,28	0,17	0,20
Z H ₁	0	0	0,13	0,16	0,19
Z H ₄	1	1	0,31	0,17	0,20
Z D	1	1	0,48	0,15	0,18
Z H ₅	1	1	0,32	0,17	0,20
R H ₁	1	0	0,20	0,18	0,22
R H ₄	0	0	0,10	0,19	0,22
R D	1	1	0,22	0,17	0,21
R H ₅	0	0	0,10	0,19	0,23
H ₁ H ₄	1	0	0,18	0,18	0,21
H ₁ D	1	1	0,34	0,16	0,19
H ₁ H ₅	1	1	0,23	0,18	0,22
H ₄ D	1	0	0,20	0,17	0,20
H ₄ H ₅	0	0	0,12	0,19	0,22
D H ₅	1	0	0,19	0,17	0,21

TABULKA 13

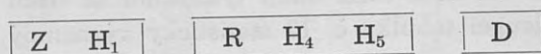
3.3.2. Výsledky rozboru

Významně se liší od všech ostatních tisků tisk D.

Významně se liší od všech tisků s výjimkou jednoho tisky Z (neliší se od H_1) a H_1 (neliší se od Z).

Tisk R se významně liší od Z i D, neliší se však od H_1 a H_5 . Tisky R, H_1 , H_5 vytvářejí skupinu, mezi jejímiž členy není statisticky významný rozdíl.

Uvedené vztahy by bylo možno schematicky vyjádřit takto:



Výklad ke schématu viz výše v 2.3.2.

Připomínáme, že se na hladině významnosti 0,01 nepodařilo prokázat významnost v 8 případech, kdežto na hladině 0,05 jen ve 4. To znamená, že v těchto případech významnost sice existuje, že však není stejně vysoká.

Očekávali bychom, že se mezi tisky časově blízkými nepodaří statistickou významnost prokázat a že se mezi tisky časově vzdálenými nepodaří statistickou významnost vyvrátit. Náš materiál však ukazuje, že takový názor by nebyl správný. Tisky časově vzdálené se mohou statisticky významně lišit, ale také nemusí; na druhé straně bývají mezi tisky časově blízkými rozdíly statisticky nevýznamné, nebo významné.

4. DODATEK

4.1. Rozbor tisku *Země dobrá...*

Z kapitoly 1. 2 je zřejmé, že jsme tisky k rozboru volili tak, aby rozbírané texty byly souvislé, tematicky blízké a chronologicky vhodné. První podmínku nesplňuje rozbíraná ukázka z tisku *Země dobrá...*; není souvislá. (*Země dobrá*, to jest země Česká, do které semeno z dobroty božské vsaté učinilo užitek stý. Hradec Králové, 1754. 467 s.). Pro její veliký rozsah ji nebylo možno rozebrat celou, nehledě na tematickou různorodost. Jako tematicky nejbližší našim tiskům se nám jevily tyto úseky: S. 314 Po zavřené — 323 se stkvěl; 338 Když tehdy — 341 zkázu

trpěla; 400 Když pak — 403 konec vzala. Tyto úseky mají 2 737 slov, 283 věty a 49 souvětí.

Pro počet slov ve větě a počet vět v souvětí jsme zjistili tyto základní charakteristiky souboru:

Základní charakteristiky souboru

Zkoumaný jev	\bar{x}	x_{min}	x_{max}	V	Me	Mo
Počet slov ve větě	9,67	1	40	39	9	8
Počet vět v souvětí	5,54	2	11	9	5	5

TABULKA 14

Procentuální zastoupení nejčastěji se vyskytujících vět a souvětí je patrné z tabulky 15:

Pořadí prvních 10 vět a prvních 6 souvětí

Pořadí	Zkoumaný jev		Počet vět v souvětí	
	Počet slov ve větě		n	%
	n	%	n	%
1	8	12,37	5	18,36
2	6	10,67	2	16,32
3	9	9,89	3	14,28
4	12	7,77	6	14,28
5	7	7,01	10	10,20
6	4	7,01	7	8,16
7	10	6,70		
8	5	6,00		
9	11	4,94		
10	14	4,59		

TABULKA 15

n = počet slov ve větě, popř. počet vět v souvětí, % = procentuální zastoupení.

Vidíme tedy, že prvních 10 míst zaujímá více než 3/4 všech

vět; mají 4 až 14 vět. Na souvětí, jež jsou na prvních 4 místech, připadá 63,24% všech souvětí; mají 2 až 6 vět.

Země dobrá má tedy s výjimkou H₁ mezi tisky 18. století nejkratší věty. Pokud se počtu vět v souvětí týče, má Země dobrá ze všech tisků s výjimkou Z průměrně nejvíce vět v souvětí. Důležité však je, že ani v počtu slov ve větě, ani v počtu vět v souvětí nevystupuje Země dobrá z rámce hodnot, které byly zjištěny pro průměrnou délku věty (tab. 6) a pro průměrný počet vět v souvětí (tab. 12).

4.2. Nástin kvantitativního vývoje věty a souvětí v ukázkách z díla Fr. Palackého a P. J. Šafaříka

4.2.1. O kvantitativním vývoji věty a souvětí v období 1759-1817 nemáme zatím žádné poznatky. Můžeme však předložit některé dosud nepublikované údaje o počtu slov ve větě a vět v souvětí ve vybraných ukázkách z díla Fr. Palackého a P. J. Šafaříka. Náš materiál je ale tematicky poněkud nesourodý, neboť obsahuje i jiné práce než historické; ukázky nejsou všude souvislé a ucelené ani stejně dlouhé, statistické zpracování je omezeno pouze na aritmetický průměr. Délka vět se počítá v grafických slovech, tedy poněkud jinak, než je uvedeno v 1.1.3.5; rozdíly ve výsledcích jsou však nepatrné a lze je podle našeho názoru zanedbat.

Domníváme se proto, že by bylo vhodnější přičítat tabulce 16 spíše jen hodnotu přibližného ukazatele budoucího kvantitativního vývoje.

Poněvadž je rozbíraný jazykový materiál místy hodně roztržštěný, uvádíme pouze název práce a stránky. Začátek a konec rozbíraného úseku, jakož i podrobné bibliografické údaje budou shrnuty v připravované studii o kvantitativním vývoji syntaxe Fr. Palackého a P. J. Šafaříka.

Vysvětlivky: ČČM = Časopis českého museum. P = Počátkové českého básnictví, obzvlá tě prozodie. (1818.)

4.2.2. Z tabulky vyplývá, že se průměrný počet slov ve větě Fr. Palackého a P. J. Šafaříka celkem neliší od našich ukázek ze 17. a 18. století. Naproti tomu počet vět v souvětí je u Palackého a Šafaříka menší než ve všech rozbíraných tiscích ze století 17. a 18. s výjimkou kroniky D ($\mu = 3,39$ vět v souvětí).

Průměrný počet slov ve větě a vět v souvětí

Autor	Rozbírané ukázky	Počet slov	Průměrný počet slov ve větě	Průměrný počet vět v souvětí
Palacký P,	22-25, 28-30, 77-82	2.000	9,21	3,50
Palacký P,	41-42, 45-50, 55-62	2.000	9,04	3,86
Palacký Krok,	1823: 22-31	2.000	10,99	2,94
Šafařík	ČČM, 1838: 102-117	3.500	12,69	3,22
Palacký	ČČM, 1838: 117-120, 121-123	2.541	10,67	3,42
Šafařík	ČČM, 1852, sv. 2: 81-85, 92-95, 97-98, 103-108	3.500	12,96	3,36
Palacký	Dějiny, dílu I částka 2: 217-239. Vyd. 1854	3.507	12,22	3,39

TABULKA 16

Zdá se tedy, že vývoj směřoval především ke zjednodušování souvětí. Ověření této domněnky by však vyžadovalo rozbor rozsáhlejšího materiálu z 19. století a jeho prohloubené statistické zpracování.

Poznámka

Pro 2. polovinu 19. století nemáme žádné údaje o kvantitativním vývoji věty a souvětí. O délce věty ve 20. století nás informuje Šmilauerova Učebnice větného rozboru⁵ na s. 142-143: Niederlova věta má průměrně 16 slov, Dostálova (Studie o vidovém systému v staroslověnině) 8 slov.

5. ZÁVĚRY

5. 1. V našich tiscích připadá na větu průměrně 8, 48 až 12,61 slov, na souvětí 3, 39 až 6, 50 vět.

5. 2. Tisky z 2. poloviny 18. století mají ve srovnání s tisky staršími, zejména z 2. poloviny 17. století, sklon k delším větám a naopak k méně početným souvětím.

5. 3. Vztah mezi vývojem procentuálního zastoupení vět majících určitý počet slov a stářím tisku je zřetelnější a jedno-

⁵ Šmilauer, V.: Učebnice větného rozboru. Učební text vysokých škol. Páté, přepracované vyd. Praha, 1968. 183 s.

značnější než vztah mezi procentuálním zastoupením souvětí o určitém počtu vět a stářím tisku.

5.4. Extrémně dlouhé věty (až 96 slov) a přetížená souvětí (až 29 vět) nejsou z hlediska kvantitativního pro žádný z našich tisků charakteristické. Tak např. 10 nejčastěji se vyskytujících vět má v našich tiscích 3 až 15 slov a připadá na ně 63, 17 až 83, 70% všech vět; 3 nejčastěji se vyskytující souvětí mají 2-6 vět (v tiscích z 18. stol. 2-4) a zaujímají 61, 16 až 81, 47% všech souvětí s výjimkou dvou tisků, kde na tato souvětí připadá 38,00 až 47,25%.

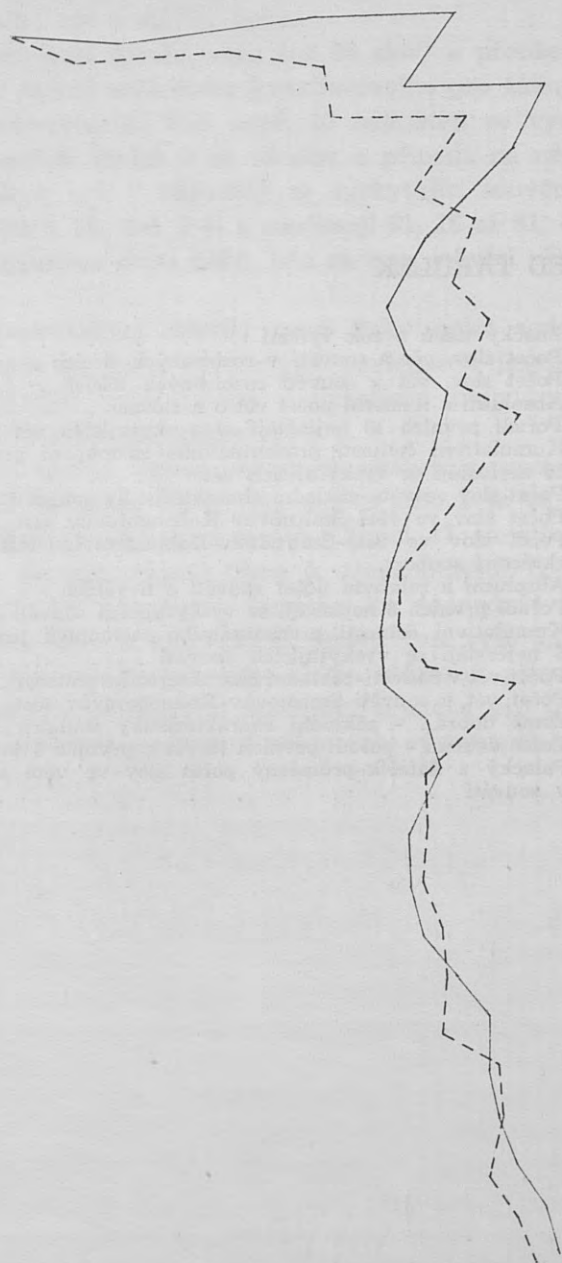
5.5. Kvantitativní rozdíly mezi tisky nelze vyložit pouze jejich různým stářím a vývojovými tendencemi jazyka; některé z těchto rozdílů třeba přičíst i stylistické individualitě jejich autorů. To se týká především tisku Z.

5.6. Jak ukázal rozbor některých ukázek z prací Fr. Palackého a P. J. Šafaříka, délka věty těchto autorů je ve svém průměru přibližně stejná jako v tiscích z 2. pol. 17. století a ze století 18., avšak souvětí zřejmě tíhne k zjednodušení, tj. průměrný počet vět v souvětí je menší. Tendenci ke zjednodušování souvětí lze pozorovat už v 2. polovině 18. století (viz výše 5.2.).

5.7. Z hlediska metodického nutno zdůraznit přínos statistického zpracování jazykového materiálu zejména pro úplnější poznání a dokonalejší pochopení některých vývojových tendencí.

6. PŘEHLED TABULEK

Tabulka 1. Značky tisků a rok vydání	109
Tabulka 2. Počet slov, vět a souvětí v rozbíraných tiscích	110
Tabulka 3. Absolutní a relativní počet vět o n slovech	111
Tabulka 4. Pořadí prvních 10 nejčastěji se vyskytujících vět	112
Tabulka 5. Kumulativní četnosti procentuálního zastoupení prvních 10 nejčastěji se vyskytujících vět	114
Tabulka 6. Počet slov ve větě-základní charakteristiky souboru	116
Tabulka 7. Počet slov ve větě-Smirnovův-Kolmogorovův test	118
Tabulka 8. Počet slov ve větě-Smirnovův-Kolmogorovův test pro zkrácený soubor	119
Tabulka 9. Absolutní a relativní počet souvětí o n větách	122
Tabulka 10. Pořadí prvních 6 nejčastěji se vyskytujících souvětí	123
Tabulka 11. Kumulativní četnosti procentuálního zastoupení prvních 6 nejčastěji se vyskytujících souvětí	123
Tabulka 12. Počet vět v souvětí-základní charakteristika souboru	124
Tabulka 13. Počet vět v souvětí-Smirnovův-Kolmogorovův test	125
Tabulka 14. Země dobrá... - základní charakteristiky souboru	127
Tabulka 15. Země dobrá... - pořadí prvních 10 vět a prvních 6 souvětí	127
Tabulka 16. Palacký a Šafařík-průměrný počet slov ve větě a vět v souvětí	129



Tento graf vyjadřuje, jak velké je procentuální zastoupení vět o 1 až 28 slovech v Zatočilově Leto- a dennopisu (r. 1685; plná čára) a v Diariu (r. 1757; čárkovaná čára); 5 mm na ose horizontální = 1 slovo, 5 mm na ose vertikální = 1%.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Ein Versuch, die Entwicklung des einfachen und zusammengesetzten Satzes in der tschechischen, aus den Jahren 1685-1758 stammenden historischen Prosa statistisch zu erklären

Dieser Aufsatz befasst sich mit der quantitativen Entwicklung des einfachen Satzes und des zusammengesetzten Satzes in den aus den Jahren 1685-1758 stammenden Drucken mit historischer und militärischer Thematik. Es handelt sich um 7 Drucke, deren Wortstellung schon in den vorigen Jahrgängen von « Annali » (1968 und 1969) analysiert wurde.

Ein einziger Satz (d.h. selbständig oder als Bestandteil einer Satzverbindung oder eines Satzgefüges) umfasst durchschnittlich 8,48-12,61 Wörter. Ein zusammengesetzter Satz (d.h. eine Satzverbindung oder ein Satzgefüge) besteht durchschnittlich aus 3,39-6,50 Sätzen. Selbstverständlich, die extremen Werte sind ungewöhnlich hoch: bis 96 Wörter im einzigen Satz und bis 29 Sätze in einem zusammengesetzten Satz. Die statistische Analyse hat aber bewiesen, dass solche Sätze und zusammengesetzte Sätze nur ausnahmsweise vorkommen; im Gegenteil, 63,17%-83,70% aller zusammengesetzten Sätze bestehen durchschnittlich aus 3 bis 4 Sätzen abgesehen von zwei Drucken, in denen solche Satzverbindungen und Satzgefüge nur 38,00%-47,25%, also mehr als ein Drittel, bilden.

In der quantitativen Entwicklung kann eine interessante Tendenz beobachtet werden: die jüngeren Drucke haben eine Neigung zu längeren Sätzen, aber ihre Satzverbindungen und Satzgefüge sind nicht so reich an Sätzen, sie werden relativ einfacher. Diese Ergebnisse können allerdings nicht nur den Unterschieden im Alter der Drucke zugeschrieben werden; die quantitative Charakteristik kann insbesondere im Druck Z durch

individuální stilistická Eigentümlichkeit des Verfassers wesentlich beeinflusst werden.

Dem Aufsatz sind auch einige statistische Angaben über die Satzlänge und die zusammengesetzten Sätze in verschiedenen Abschnitten aus Palackýs und Šafaříks Werken (1818-1854) beigefügt. Die Werte für die Satzlänge liegen zwischen 9,04 bis 12,96 Wörtern und für den zusammengesetzten Satz zwischen 2,94 bis 3,86 Sätzen. Die Satzlänge unterliegt also keinen wesentlichen quantitativen Änderungen; bei dem zusammengesetzten Satz macht sich dagegen eine deutliche Tendenz zur Vereinfachung bemerkbar.

OBSAH

1. ÚVOD	105
1. 1. Úkol práce; metoda	105
1. 2. Rozbírané tisky, jejich značky a rozsah	108
1. 3. Značky vyskytující se ve statistickém rozboru	110
1. 4. Poznámka	111
2. POČET SLOV VE VĚTĚ	111
2. 1. Absolutní a relativní počet slov ve větě	111
2. 2. Základní charakteristiky souborů	116
2. 3. Smirnovův-Kolmogorovův test	118
3. POČET VĚT V SOUVĚTÍ	121
3. 1. Absolutní a relativní počet vět v souvětí	121
3. 2. Základní charakteristiky souborů	121
3. 3. Smirnovův-Kolmogorovův test	125
4. DODATEK	126
4. 1. Rozbor tisku Země dobrá	126
4. 2. Nástin kvantitativního vývoje věty a souvětí v ukázkách z díla Fr. Palackého a P. J. Šafaříka	128
5. ZÁVĚRY	129
6. PŘEHLED TABULEK	131
7. NĚMECKÉ RÉSUMÉ	133

RECENSIONI

Jiří Haller: *Český slovník věcný a synonymický. I. díl.* Praha, 1969, 56+292 s.

V r. 1947 byl vydán v knižnici Kruhu přátel českého jazyka v Praze Mašínův a Bečkův « Malý slovník českých synonym » (144 s.). Slova jsou tu seřazena abecedně a u každého z nich lze nalézt příslušné synonymum, nebo i synonym několik. Slovník však nevykládá jejich význam ani větné souvislosti, nezmiňuje se o stylistickém hodnocení navrhovaných synonym. Jeho funkcí bylo spíše upozornit na existenci synonyma a pomoci uživateli slovníku rychle najít vhodné slovo. Jeho význam byl především praktický a v tomto směru má svou hodnotu dodnes. Ale opravdu hlubokého a systematického zpracování českých synonym dostává se naší jazykovědě až v polovině roku 1969, i když teoreticky byla otázka synonym zpracována velmi důkladně už r. 1961 (Josef Filipec, *Česká synonyma z hlediska stylistiky a lexikologie*, Praha, 1961, 386 s.).

Jak už název knihy naznačuje, nová Hallerova práce není jen slovník synonymický, ale i věcný. Slovníková hesla nejsou proto řazena abecedně, nýbrž jsou roztríděna podle věcných souvislostí označovaných pojmů. Věcné uspořádání je v podstatě založeno na systému Halligově a Wartburgově, zahrnuje však znatelně více odborných názvů. (R. Hallig - W. von Wartburg: *Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie*. Berlin, 1952. 140 s.) Slovníkovým heslem bývá označení pojmu, který má spíše větší rozsah a menší obsah. Pojem se pak podle potřeby třídí dále, popř. se připojují pojmy nějak souvisící a vnitřně příbuzné. Příklad: 737. 1. zub, 2. řezáky, 3. špičáky... 58. 1. led, 2. celistvý led, 3. nezamrzlé místo, 4. kra, 5. (adj.) ledový, 6. (slov.) pokrývat ledem. Synonyma jsou uváděna ze všech jazykových vrstev, i z nářečí, podle potřeby s příslušným vysvětlením a větnou souvislostí. Tak třeba u názvu rostliny « ostrožka » jsou zaznamenány tyto nářeční názvy: ostružka, stračisko, stračí nůžka, stračinožka, svalník, kozí brádka, srncí nožka, muří nožka,

pantoflíčky, ptáčky, pětiptáčky, kačka, zajíčky, Pánaboha nohavičky, pámbíčkovy rukavičky, židovy (staříčkovy) gatě. U jmen zvířat se dovídáme, jaké zvuky vydávají, popř. jak se na ně volá aj. Pro praxi je důležité i to, že autor uvádí i adjektiva utvořená od příslušných substantiv.

Význam slovníku spatřujeme především v důkladném spojení slovní zásoby se soustavou pojmů, tj. nalezneme v něm poučení, jaké jazykové prostředky má čeština k dispozici, aby vyjádřila určitý pojem, např. mrak, údolí, les, kousat atd. Soubor synonym, který takto vznikne, je pak stylisticky roztríděn, např. na slova odborná, knižní, řídká, nářeční, vulgární aj. Slovník je neuvěřitelně bohatým zdrojem nářečních slov a různých termínů. Obsahuje i cenná poučení věcná, mimojazyková, tak např. na s. 42 se dočítáme o stupnici větru podle jeho síly, na s. 253-264 najde čtenář seznam téměř všech našich polních a lesních ptáků, jejich latinské názvy a onomatopoické zaznamenání hlasu, zpěvu, výklad o jejich typických pohybech a zvucích, na s. 81 se lze poučit o krystalech atd.

Orientaci ve slovníku umožňuje pečlivě uspořádaný a velmi podrobný obsah (43 strany, tj. 14,8% všech stran slovníku). Zevrubný rejstřík bude připojen ke 4. dílu.

Český slovník věcný a synonymický je práce velmi cenná, v bohemistice vskutku průkopnická. Máme před sebou dílo promyšlené a vyzrálé-vždyť jeho autor o něm intenzivně pracoval více než 12 let. Význam tohoto slovníku nespátřujeme pouze v tom, že umožňuje dokonalejší poznání české slovní zásoby, ale i v jeho metodické podnětnosti. Obratnému učiteli českého jazyka může přinést pro školní praxi mnoho cenného, pedagogickým pracovníkům je bezpečnou základnou pro dílčí výzkum slovní zásoby dětí. Je třeba si jen přát, aby dílo tak důkladné bylo brzy dokončeno a mohlo svým uživatelům přinést hojný užitek v plném rozsahu svých možností.

Biografický dodatek. - Prof. dr. Jiří Haller se narodil 1. ledna 1896 v Keblicích na Litoměřicku. Jako středoškolský profesor působil v Nymburce, Ledvicích, v Ústí nad Labem a v Praze, později jako vedoucí lektorských kursů českého jazyka pro budoucí středoškolské profesory, kteří studovali na Karlově universitě. Od r. 1931 do konce roku 1948 byl členem redakční rady a odpovědným redaktorem *Naší řeči*. - Hlavní díla: *Popis a rozbor lidové mluvy v pěti podřipských obcích*, Praha, 1932, 165 s. *Rukověť mateřského jazyka. Část I. A-K*, Praha, 1940, 308 s. (Druhý díl nemohl být vydán, ačkoli už byl připraven k tisku.) *Kapesní slovník cizích slov*, Praha, 1954, 313 s. *Jak se dělí slova*, Praha, 1956, 178 s. *Český slovník věcný a synonymický. I*, Praha, 1969, 56+292 s. Kromě toho napsal dr. Haller řadu učebnic, ve své době velmi moderních a průkopnických: *Slohovou čítanku pro vyšší třídy středních škol (2 díly)*, *Česky sluchem a studiem*. Spolupracoval na učebnicích *Jazyk vyučovací na málotřídní škole obecné*, *Jazyk mateřský (pro bývalé měšťanské a střední školy) aj.* Napsal řadu článků do *Naší řeči*, *Listů filologických*, *Časopisu pro moderní filologii* i do jazykových rubrik různých odborných časopisů. Velmi se zasloužil o Kruh přátel českého jazyka v Praze.

Výstižnou charakteristiku prof. Hallera a jeho vědecké práce podal Šmilauer v článku *Kytička dr. Jiřímu Hallerovi*. (Zprávy Kruhu přátel českého jazyka, 1966, dubnové číslo, s. 5-8.)

Prof. dr. Haller zemřel po dlouhé, těžké chorobě 25. ledna 1971. Pohřben byl 29. ledna v Praze. V prof. Hallerovi ztrácíme nejen vynikajícího znalce českého jazyka, který dovedl dobře spojovat teoretické poznatky s požadavky jazykové praxe, zejména školní, ale i osobnost všestranně vzdělanou, příkladně pracovitou a vytrvalou.

L. Klímeš

LIBRI RICEVUTI

- Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica*, 3-4, 5, Praha 1969, 1970.
- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Linguistica*, T. 1, Budapest 1970.
- Biserica Ortodoxă română*, a. LXXXVIII, nn. 5-6, București, 1970.
- Branca V., *Sebastiano Ciampi in Polonia e la Biblioteca Czartoriski*, Accademia polacca delle Scienze, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1970.
- Bukáček J., *Vrchlického překlady z Danta*, Praha 1968.
- Kljuev N., *Sočinenija*, vv. I, II, München 1969.
- Nauki humanistyczno społeczne*, 2.70 *Filologia Rosyjska*, Łódź 1970.
- Onomastické Práce*, sv. 2, 3 ČSAV, Praha 1968, 1970.
- Popovič A., *Štrukturalizmus v slovenskej vede (1931-1949)*, Martin 1970.
- Revue Roumaine de Linguistique*, t. XV, n. 6, t. XVI, n. 1, Bucarest 1970, 1971.
- Slavia Orientalis*, r. XIX nn. 1, 2 Warszawa 1970.
- Svetlík J., *Sintaksis ruskogo jazyka v sopostavlenii s slovackim*, Bratislava 1970.
- Vidović R., *Dante nelle traduzioni croate e serbe*, ex *Sbornik o Danteu*, Beograd 1968.
- Zbornik Filoz. Fak. U.K., Philologica*, r. XX Bratislava 1970.
- Zpravodaj Místopisne Komise ČSAV*, r. X, č. 1-5, r. XI, č. 1-3, Bratislava 1969, 1970.